

ГЛЕБ НОСФЕРАТ

Правила порядочного обмана

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО



Натаниэль Блэкмор

Глеб Носферат
Семейное дело

«Автор»

2026

Носферат Г.

Семейное дело / Г. Носферат — «Автор», 2026

Эдмунд Фарроу приехал на похороны человека, которого никогда не видел, назвал его сыном и объявил, что ему ничего не нужно. Последнее — особенно наглая ложь. Ему нужно сто тысяч крон — за то, чтобы приличная семья больше никогда его не видела. Достаточно припудрить лицо, убедительно помолчать и позволить родственникам самим вообразить худшее. Но в Вентмор-Грейндже каждый чего-нибудь недоговаривает. Хозяин слишком охотно предлагает деньги. А дотошный клерк уже проверяет приход, в котором самозванцу полагалось родиться. Пора бы забрать предложенное и уехать. К сожалению, Эдмунд уверен, что ему недоплачивают.

© Носферат Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1: Незванный на похоронах	5
Глава 2: Третий экипаж	9
Глава 3: Шестью днями раньше	13
Глава 4: Королевский вереск	18
Глава 5: Погода оказалась против	22
Глава 6: Дом, который проглотил завод	27
Глава 7: Дядя Аврелий	31
Глава 8: Первая цена	37
Глава 9: Людская	42
Глава 10: Долг приезжает в самоходной карете	46
Глава 11: Двадцать тысяч	50
Глава 12: Человек прямой	54
Глава 13: Телеграмма из Грейвелла	58
Глава 14: Цена чужого шума	63
Глава 15: Зимний сад	67
Глава 16: Вам не идет пудра	71
Глава 17: Условия союза	76
Глава 18: Иоланта	81
Глава 19: Тетка приезжает к чаю	86
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Глеб Носферат

Семейное дело

Глава 1: Незванный на похоронах

Похороны были назначены на одиннадцать, и к одиннадцати Эдмунду Фарроу следовало сделаться чьим-нибудь сыном.

Сыном Сайласа Вентмора, который владел здешней водой, тремя заводами и чем-то еще, чего Эдмунд так и не выяснил. Незаконным сыном: законные приезжают заранее, в собственных экипажах, и им не приходится ничего объяснять у ворот.

Он рассчитывал получить за это сто тысяч крон и уехать не позже чем через шесть дней.

Пока же он шел пешком — последние три мили по мокрой дороге — и портил сапоги.

Это тоже была работа. Наемный экипаж стоил бы две кроны и стоил бы всей затеи: у Натаниэля Блэкмора не могло быть денег на наемный экипаж по условию задачи. Поэтому Эдмунд выбирал на обочине места пожиже и ступал в них с той обстоятельностью, с какой другие люди завязывают галстук. Грязь на сапогах — это полторы страницы биографии, которые не надо произносить вслух.

Все прочее в биографии Натаниэля Блэкмора было, к сожалению, гораздо новее сапог.

Доделывать ее Эдмунд рассчитывал не спеша, с карандашом, в последние три дня из одиннадцати. Старик умер на четвертый.

Вентмор-Грейндж открылся из-за поворота весь сразу, как открываются дома, построенные людьми, которым важно, чтобы их дом открывался весь сразу: старый серый корпус в три этажа, обросший с обеих сторон красным кирпичом, с крытым переходом в новое крыло и слишком тонкой для завода трубой за спиной. Он выглядел так, будто старый дворянский дом проглотил небольшой завод и теперь делал вид, что это семейная традиция.

Эдмунд оценил его в сумму, которую сам счел неприличной, и пошел к воротам.

Сумма складывалась сама, как складывается у всякого человека его ремесла, стоит тому увидеть больше шести окон в ряд. Окон по фасаду было четырнадцать, и в каждом стояли шторы, опущенные ровно наполовину, — так, как полагается в доме, где траур, и как никогда не бывает в доме, где действительно плачут: у плачущих людей шторы висят как попало. Над парадной дверью кто-то уже успел повесить черный креп и не успел его расправить. Креп висел косо, одним углом вниз, и Эдмунд с неожиданной симпатией подумал, что это единственная вещь в Вентмор-Грейндже, сделанная второпях.

У ворот стояли газетчики.

Он увидел их шагов за двести и на мгновение сбился с ноги — не от испуга, а от того редкого чувства, которое в его ремесле заменяло благоговение. Газетчиков было трое. Один сидел на тумбе и что-то писал на колене; двое курили, подняв воротники, с видом людей, которые ждут уже часа полтора и намерены ждать столько же, потому что им заплатят за ожидание.

Эдмунд подошел ближе и увидел, чего они ждут.

За воротами, в дальнем конце парка, над мокрыми деревьями висел воздушный катер.

Он был меньше самого скромного из тех кораблей, которые печатали в «Курьере» рядом со словом «Гавань», — серо-серебристый, вытянутый, с темной гондолой под брюхом, — и от этого казался не величественным, а нахальным, как крупная рыба, заплывшая в аквариум с мелкой. Его держали на трех тросах, и тросы уходили вниз, к людям в брезентовых куртках. Оболочка мелко подрагивала. Ветер шел порывами, и при каждом порыве нос катера неохотно поворачивался, а люди внизу начинали кричать друг на друга.

— Не полетит, — сказал один из курящих, ни к кому не обращаясь. — Я тебе говорю, не полетит. Пятый час стоят.

— Заплачено, — отозвался второй.

— За то, чтобы заплачено, погода уважения не имеет. — Он сплюнул. — И катер дрянной. Их с тех пор, как Гавань затеяли, все приличные туда позабирали, а по найму остались вот такие.

— А отчего хоронить не начинают? — спросил Эдмунд.

Он спросил, не поворачивая головы, тем ровным тоном, каким спрашивают у соседа по очереди, и получил ответ немедленно: человек, простоявший полтора часа на ветру, отвечает кому угодно.

— Так ветра ждут, — сказал первый. — Старик отписал, чтоб в ясную и при попутном.

— Не отписал, а распорядился, — поправил тот, что сидел на тумбе, не поднимая головы от колена. — В завещаниях про ветер не пишут.

— А тебе-то что?

— А мне это в набор сдавать, — сказал сидевший на тумбе.

— И что сдать?

— Что семья держалась достойно, — сказал он. — Я это третий год пишу, и еще ни одна не пожаловалась.

Эдмунд остановился рядом и стал смотреть вместе с ними, как свой, — что было почти правдой: вторые сутки он жил в шести милях отсюда, в комнате над лавкой, где брали полторы кроны и не спрашивали имени. Человек, сошедший с поезда в день похорон, приезжает. Человек, который уже два дня ходит по округе, живет.

Стоять рядом было полезно по двум причинам. Во-первых, стоящий человек в толпе стоящих людей невидим. Во-вторых, за полторы минуты он узнал у них больше, чем узнал бы за час в доме: что покойник распорядился развеять себя с воздуха; что семья, по общему мнению, этого стыдится; что аэронавт берет по часам и часы идут; что похороны назначены на одиннадцать, отпевание в домовый часовне, вынос в четверть двенадцатого; что «Курьер» прислал двоих, а «Листок» одного, и что «Листок», по мнению «Курьера», приехал зря.

Собственно, из-за этого катера Эдмунд сюда и ехал.

Человек, который при жизни оплачивает собственное развеивание, — это не человек, которому нездоровится. Это человек, которому назвали срок. Человек, который вписывает в распоряжение пункт о представителях печати в разумном числе, — это человек, чья последняя забота состоит в том, как все будет выглядеть. А у такого человека непременно есть семья, для которой «как все будет выглядеть» — уже не забота, а религия.

В без двадцати одиннадцать ворота открыли изнутри.

Эдмунд ждал этого: к одиннадцати во дворе уже должны были стоять экипажи.

Он снял шляпу, взял ее в обе руки — так носят шляпу люди, которым некуда девать руки, — и вошел в ворота вместе с двумя экипажами, прислужгой с зонтами и запахом мокрого самшита.

И вот тут начиналась работа.

Двор был полон.

Четыре экипажа с черными плюмажами на лошадях, пятый подъезжал; мужчины в черном, женщины в черном, лакеи, зонты, приглушенный гул, в котором ни одного слова не разберешь, но общий тон слышен за сто шагов. Тон был тот самый, какой бывает на похоронах богатых людей, где никто не плачет: деловитый, слегка раздраженный, с неприятной ноткой ожидания.

Посреди двора, у ступеней, стоял открытый катафалк, и на нем — гроб.

Эдмунд посмотрел на гроб и, прежде чем успел себя остановить, оценил его.

Черный лак в шесть слоев, бронзовые ручки литые, не штампованные, крышка с профилем, подушка бархатная, рант серебряный. Без катафалка и без людей — крон восемьдесят. С катафалком, лошадьми, плюмажами и шестью носильщиками в одинаковых перчатках — за двести.

Полгода его прежней жизни лежали на четырех колесах и ждали, когда их повезут.

Эдмунд поймал себя на том, что завидует покойнику, счел это дурным знаком и пошел прямо к ступеням.

Его перехватили на седьмом шаге.

— Прошу прощения, сэр.

Дворецкий был высокий, лысеющий, с длинными руками и тем безукоризненно вежливым лицом, которое означает, что вас сейчас выведут. Он возник сбоку, как возникают все хорошие дворецкие, — не спереди, чтобы не было похоже на препятствие, и не сзади, чтобы не было похоже на конвой.

— Вы с которой стороны, сэр? — спросил он. — От поверенных или от предприятия?

Это был хороший вопрос. Хороший дворецкий всегда предлагает вам две двери, чтобы посмотреть, в какую вы пойдете.

— Ни с которой, — сказал Эдмунд.

Он сказал это негромко, но с той ровной внятностью, которая на открытом дворе разносится дальше крика. Двое мужчин у ближнего экипажа обернулись.

— В таком случае, сэр, я вынужден просить вас...

— Меня зовут Натаниэль Блэкмор, — сказал Эдмунд.

Он сделал паузу, ровно такую, чтобы фамилия успела дойти до тех, кто уже слушал, и не такую длинную, чтобы дворецкий успел его перебить.

— Я приехал похоронить отца.

Двор не затих. Это было бы неправдой и, кстати, никогда не случается: двор продолжал гудеть, лошади переступали, кто-то раскрыл зонт. Но круг шагов в восемь вокруг Эдмунда затих совершенно, и в этом круге стало слышно, как на воротах поворачивается флюгер.

Лицо дворецкого не изменилось ни на волос, и именно по этому Эдмунд понял, что попал.

— Сэр, — сказал дворецкий очень тихо, — сегодня похороны.

— Я знаю, — сказал Эдмунд. — Поэтому я и приехал.

— Вам следовало бы обратиться к поверенным.

— Мне не нужны поверенные. — Эдмунд чуть повернул шляпу в руках. — Мне ничего не нужно. Я не буду ни о чем просить и ни с кем говорить. Я постою сзади.

Вот это была лучшая фраза, которую он привез из Велмонта, и он знал ей цену.

Человека, который чего-то требует, выгоняют. Человека, который ничего не просит, выгнать нельзя: выгонять его не за что, а не выгонять — значит признать, что он имеет право стоять. И в обоих случаях сорок человек в черном, трое газетчиков за воротами и аэронавт с секундомером будут на это смотреть.

Дворецкий тоже знал цену этой фразе. Он был очень хороший дворецкий.

— Прошу вас подождать здесь, — сказал он и ушел к ступеням, не торопясь, ни разу не оглянувшись.

Эдмунд остался стоять посреди двора со шляпой в руках, в одеколоне «Королевский вереск», в двадцати шагах от гроба, и чувствовал на себе примерно тридцать взглядов.

Он опустил глаза и стал смотреть на носки собственных испорченных сапог, как смотрел бы человек, которому тяжело и неловко, а сам в это время пересчитывал двор.

Вон те двое у второго экипажа — не родня: стоят слишком прямо и слишком близко друг к другу, и у одного под пальто папка. Поверенные. Вон тот, толстый, в хорошей шубе, но с дурными перчатками, — подрядчик или поставщик, пришел не прощаться, а показаться.

Вон та дама с двумя дочерьми — соседка, приехала первой и уедет последней. А вон там, на верхней ступени, у самых дверей...

А вон там, на верхней ступени, стояла девушка и смотрела прямо на него.

Ей было, наверное, года двадцать четыре. Черное на ней сидело как следует, что означало, что это не спешное черное, а свое. Она стояла очень ровно, без зонта, и держала руки сложенными перед собой.

И она не отвела глаз, когда он на нее посмотрел.

Все прочие отвели — сразу, все до единого, потому что смотреть в упор на скандал неприлично, а веллгардская публика скорее умрет, чем совершит неприличие на людях. А эта не отвела. Она смотрела спокойно, чуть склонив голову, и Эдмунд с некоторым неудовольствием понял, что она изучает не его лицо.

Она изучала его пальто. Потом сапоги. Потом руки.

Потом она подняла глаза к его волосам и посмотрела на них дольше, чем следовало.

«Лак», — подумал Эдмунд и почувствовал под пудрой очень нехороший холодок.

Глава 2: Третий экипаж

Толстяк в хорошей шубе добрался до него первым.

— Блэкмор? — сказал он, подойдя вплотную, и это оказалось не вопросом. От него пахло сигарой и завтраком. — Блэкмор. Так-так.

Он был лет сорока, крупный, с тем свежим розовым лицом, какое бывает у людей, которые много едят и мало спят, и с быстрыми маленькими глазами, которые успевали обежать Эдмунда трижды, пока их владелец произносил два слова.

— Виктор Вентмор, — представился он и, не дожидаясь ответа, взял Эдмунда за рукав. Не за руку — за рукав, двумя пальцами, у самого локтя. Потом Эдмунд заметил, что он так делает со всеми. — Племянник покойного. То есть — ну, теперь-то уж просто Вентмор, да. Вы, простите, откуда?

— Из Грейвелла.

— Из Грейвелла, — повторил Виктор с таким удовольствием, будто ему назвали выигрышный номер. — Это где?

— Большой Колдрен.

— Колдрен! — Виктор оглянулся через плечо, коротко, на ступени, и снова повернулся к Эдмунду, и вот в этом коротком взгляде было все, что Эдмунду требовалось знать. Он оглянулся посмотреть, видит ли кто-нибудь, что он разговаривает с самозванцем. И увидел, что видят. И остался доволен. — Колдрен, стало быть. Ну-ну. А что же вы раньше не объявлялись?

— Раньше он был жив, — сказал Эдмунд.

Виктор моргнул. Потом хохотнул — коротко, одним выдохом, и тут же спохватился и сделал лицо.

— Оно, конечно, — сказал он, понизив голос и придвинувшись. — Оно, конечно, да. Вы вот что. Вы ко мне после подойдите. Я тут, знаете, один человек, который... который понимает. Тут ведь как.

Он оглядел двор с видом человека, собирающегося объяснить, как именно тут, независимо от того, слушают его или нет.

— Тут ведь дом-то чей? Дом, если по совести, дедов. Завод — дядин, тут я не спорю, дядя поднял, дядя выстроил, честь ему и место в церкви. А вот водоотвод колдренский — в него, между прочим, мой покойный отец вошел первым. И вошел деньгами, а не советом. Советом-то всякий войдет.

Он произнес это с той особенной свежей обидой, которая у некоторых людей не стареет десятилетиями, а хранится, как варенье, и открывается к любому случаю, включая похороны.

— Понимаю, — сказал Эдмунд.

Он и вправду понял, причем гораздо больше, чем ему предлагали. Он понял, что у покойного был брат. Что брат умер. Что племянник считает себя обойденным, считает давно, вслух и при посторонних, и что в этом доме к его обиде привыкли, как привыкают к сквозняку из одного и того же окна.

А главное, он понял вот что: человек в хорошей шубе и дурных перчатках сейчас, в двадцати шагах от гроба, на глазах у сорока свидетелей, взял за рукав неизвестно откуда явившегося самозванца. Не потому, что поверил. А потому, что самозванец неприятен Артуру.

В ремесле Эдмунда такие люди назывались подарком. Дорогим, скоропортящимся, требующим обращения — но подарком.

— Вы ко мне подойдите, — повторил Виктор и слегка потряс его рукав, как трясут ветку, проверяя, крепко ли она держится. — Я человек прямой. Меня тут за это не любят.

Эдмунд подумал, что за это его, вероятно, тоже не любят, но в общей очереди причин оно стоит далеко не первым.

— Тут ведь как...

Что тут «как», Эдмунд не узнал, потому что во дворе стало тихо по-настоящему.

Дворецкий спускался по ступеням. За ним шел человек.

Первое, что Эдмунд отметил в Артуре Вентморе, — он не торопился.

Дом стоял, гроб стоял, сорок человек в черном стояли, катер дергался на тросах и жрал деньги по часам, — а хозяин дома спускался по ступеням в своем темпе, по одной, и остановился на предпоследней, оставив себе ступеньку преимущества, причем сделал это так естественно, что придаться было не к чему.

Ему было под сорок. Худой, светловолосый, с хорошим костяком лица и совершенно сухими глазами. Траур сидел на нем как рабочее платье. За те полторы минуты, что он шел через двор, он не посмотрел ни на гроб, ни на катер, ни на газетчиков за воротами — только на Эдмунда, и смотрел ровно, не мигая, и в этом взгляде не было ни гнева, ни любопытства.

Была работа.

«Он уже считает», — понял Эдмунд, и ему это очень не понравилось. Он и сам в эту минуту считал, и по опыту знал, что когда двое считают одновременно, выигрывает тот, у кого больше цифр.

Артур остановился в трех шагах.

— Как ваше имя? — спросил он.

Голос был негромкий, ровный, без всякого выражения. Так спрашивают в конторе.

— Натаниэль Блэкмор.

— Имя вашей матери.

— Элеонора Блэкмор.

Артур не сказал ничего. Он смотрел на Эдмунда еще секунды три, и Эдмунд, у которого за спиной было одиннадцать лет ремесла и примерно столько же неприятных минут, вдруг обнаружил, что ему хочется заговорить. Просто чтобы прекратить паузу. Просто чтобы что-нибудь произошло.

Он не заговорил. Это было, пожалуй, лучшее, что он сделал за весь день.

— Где вы живете? — спросил Артур.

— В Грейвелле. — Эдмунд помолчал и добавил ровно столько горечи, сколько кладут в такие фразы люди, которые считают, что кладут ее незаметно: — Пока.

— Грейвелл, — сказал Артур.

Он произнес это слово так же ровно, как и все предыдущие. Ничего не дрогнуло. Ни в лице, ни в голосе.

Но он повернул кольцо.

Эдмунд заметил это только потому, что смотрел на руки, — он всегда смотрел на руки. Перстень на правом мизинце, темный камень в тяжелой оправе. Артур, не опуская глаз, большим пальцем повернул его один раз вокруг. Как заводят часы.

«Испугался», — подумал Эдмунд и почувствовал, как под ребрами разворачивается теплая, жадная, совершенно преждевременная радость.

Он был прав. Артур Вентмор действительно испугался.

Эдмунду понадобилось двадцать четыре дня, одна кража и одна газета, купленная в дороге, чтобы понять, чего именно.

— Хорошо, — сказал Артур.

— Хорошо? — переспросил Эдмунд, и это было второй его ошибкой за утро, потому что вопрос прозвучал слишком быстро.

— Мы хороним отца в одиннадцать. — Артур повернулся к дворецкому. — Бримли, третий экипаж.

Дворецкий не изменился в лице и во второй раз за утро.

— Сэр...

— Третий экипаж, — повторил Артур. — Господин Блэкмор проделал долгий путь. Он посмотрел на Эдмунда — коротко, уже сверху, уже уходя.

— После похорон вы зайдете ко мне в кабинет. Не сегодня. Сегодня мы хороним. Завтра.

— Я не хотел бы затруднять...

— Вы уже затруднили, — сказал Артур, все так же ровно. — Теперь это следует сделать аккуратно.

И ушел.

Эдмунд стоял и смотрел ему в спину, и в голове у него с приятным щелчком становилось на место все сразу: его впустили, его посадили в экипаж, его называли по фамилии при сорока свидетелях, ему назначили разговор. За четыре минуты он получил то, на что закладывал два дня.

Все шло изумительно.

Бримли возник рядом прежде, чем он успел додумать эту мысль до конца, и повел его через двор — не касаясь, не подталкивая, просто оказываясь на полшага впереди в ту сторону, куда следовало идти. За две минуты Эдмунд получил полное представление о том, как в этом доме поставлена работа, и представление ему не понравилось.

Двор расступался. Не демонстративно — просто в нужную секунду впереди никого не оказывалось. Дама с двумя дочерьми обнаружила у себя в сумочке что-то срочное. Оба поверженных повернулись к своему экипажу и принялись обсуждать колесо, которое, судя по всему, было в полном порядке. Толстый Виктор шагнул было навстречу, но Бримли на него посмотрел, и Виктор немедленно вспомнил, что ему необходимо поздороваться с кем-то в другом конце двора.

У экипажей аэронавт в брезентовой куртке спорил с кем-то из прислуги, размахивая часами на цепочке.

— ...я стою с шести! — говорил он. — С шести, и все это время оболочку держат четыре человека, и четверем человекам платят. Я не говорю «не полечу». Я говорю: назовите мне минуту. Одну минуту, в которую я должен быть готов. Больше мне ничего от вас не надо.

Ему не отвечали. Ему, судя по лицу лакея, не отвечали уже давно и намеревались не отвечать дальше.

Третий экипаж стоял третьим.

Это Эдмунд отметил отдельно и почти с уважением. Не последний, куда сажают посторонних. Не первый, куда садится семья. Третий. Артур Вентмор за четыре минуты нашел ему точное место в порядке следования, и место это означало ровно то, что должно было означать: о нем еще не решено.

На верхней ступени по-прежнему стояла девушка в черном. Когда Эдмунд проходил мимо, она не отвернулась и не поздоровалась. Она перевела взгляд с него на Бримли, потом обратно — и в этом коротком движении было что-то до такой степени хозяйское, что Эдмунд впервые за утро подумал: а ведь, кажется, в этом доме считает не один Артур.

Бримли открыл дверцу.

Именно тогда Эдмунду и следовало испугаться. Он потом сам себе в этом признался — но именно что потом.

В третьем экипаже сидела старуха.

Она была очень маленькая и очень прямая, в черном шелке, который шуршал при каждом движении, и в чепце, который лет тридцать как вышел из моды и явно знал об этом. На коленях у нее лежал лорнет на черной ленте. Пахло от нее фиалковым корнем и — очень слабо — камфарой.

Эдмунд снял шляпу, сел напротив, к ходу, и приготовился быть незаметным.

Экипаж качнулся и тронулся. За окном поплыл двор, катафалк, чужие спины.

Ехали шагом. Гравий шуршал ровно, как пересыпаемая крупа, и в этом звуке было что-то до отвращения домашнее.

Эдмунд просчитал старуху за двадцать секунд и остался доволен. Шелк дорогой, но перешитый; перчатки заштопаны у большого пальца — мелко, аккуратно, своей рукой, а не прислужой. Женщина не бедная, но считающая. Из тех, кто помнит, кому что подарил и кому чего не подарил. Наилучший из всех возможных попутчиков: свидетельница, которая обожает рассказывать.

Эдмунд приготовился быть рассказанным.

Старуха подняла лорнет — правильно, чуть на отлете, зная свое стекло. Стекло у нее было скверное: правая линза сидела в оправе косо, и он увидел это мгновенно, по бликам, как видит человек, одиннадцать лет просидевший над линзами.

Она разглядывала его долго и совершенно бесцеремонно. Потом опустила лорнет.

— Вы опоздали, — сказала она.

Голос у нее был сухой и внятный, без старческого дребезга.

— Простите, мадам?

— Вы опоздали, — повторила она, аккуратно расправляя ленту лорнета на коленях, — на двадцать лет.

И отвернулась к окну.

Эдмунд выждал приличное время — секунд десять, ровно столько, сколько выжидает человек, которого оскорбили и который решает, обижаться ли.

— Мадам, — сказал он, — боюсь, я не понимаю.

Это была неправда, и это было лучшее, что он мог сказать. Человек, который не понимает, вынуждает объяснить.

Старуха не обернулась.

— Разумеется, не понимаете, — сказала она окну. — Вы ведь молодой.

— Если я вас чем-то оскорбил...

— Вы меня ничем не оскорбили. Вы приехали. — Она тронула ленту лорнета, хотя та лежала ровно. — В этом доме двадцать лет ничего не происходило, а сегодня хоронят и приезжают. Мне семьдесят, и я нахожу, что это многовато на одно утро.

Голос у нее при этом не дрогнул ни на ноту. Эдмунд, у которого была профессиональная слабость к людям, умеющим говорить о собственном возрасте без интонации, отметил это с удовольствием и с некоторой тревогой.

Он приготовил следующую фразу — мягкую, беспомощную, ту, после которой старухи обыкновенно начинают говорить и не могут остановиться.

Произнести ее он не успел.

— В часовне, — сказала старуха, по-прежнему глядя в окно, — вы сядете сзади и не будете петь. У вас не тот голос, каким поют в этой семье.

Больше за всю дорогу она не произнесла ни слова.

Эдмунд сидел напротив, держал шляпу на коленях, слушал, как сухо шуршит гравий под колесами, и впервые с того утра, когда он развернул «Курьер», чувствовал себя не очень хорошо.

Потому что ни одному человеку в этом доме он еще не назвал ни единой даты.

Глава 3: Шестью днями раньше

Шестью днями раньше никакой старухи с лорнетом в расчетах Эдмунда Фарроу не было. В них вообще ничего не было.

Сведения о том, что богатый человек собирается умереть, стоили в Велмонте от двух до пяти крон — смотря насколько богатый и насколько собирается. Эдмунд Фарроу заплатил четыре и полагал, что переплатил ровно на одну, потому что Тэддер трижды произнес слово «конфиденциально», а люди, которые произносят это слово трижды, обыкновенно берут деньги за то, что через неделю и так напечатают в «Курьере».

Они сидели в устричной под Северным мостом, где пар от чанов поднимался к потолку и оседал на стеклах, так что окна весь день выглядели запотевшими изнутри, а посетители — размытыми снаружи. Заведение Эдмунд выбрал сам. Он вообще предпочитал места, где лица плохо запоминаются, а счет подают на грифельной доске и стирают сразу.

— Вентмор, — сказал Тэддер и проглотил устрицу так, будто она пыталась сбежать. — Сайлас Вентмор. Колдренские насосы, водоотводы, три завода, что-то по литью. Не из первых домов, но крепкий.

— Я знаю, кто такой Сайлас Вентмор.

— Тогда вы знаете половину. — Тэддер вытер пальцы о салфетку, оставив на ней четыре серых полосы, и придвинулся. У него была скверная манера придвигаться перед тем, как сказать что-нибудь обыкновенное. — Он заказал у нас страховку на частный демонстрационный полет. Оплатил вперед. Полностью.

— Люди заказывают полеты.

— Не такие. — Тэддер поднял брови, и Эдмунд подумал, что за эту паузу с него как раз и берут лишнюю крону. — Он заказал не рейс. Он заказал развеивание.

Эдмунд отставил стакан.

— Праха, — уточнил Тэддер с удовольствием человека, который наконец дошел до места, ради которого его слушали. — Своего собственного. С борта. Над собственным парком, в ясную погоду, при попутном ветре, в присутствии семьи и, я цитирую распоряжение, «представителей печати в разумном числе». Страховка от невылета по метеоусловиям. Отдельным пунктом — от повреждения урны.

— От повреждения урны, — повторил Эдмунд.

— Медь с эмалью. Заявленная стоимость — четыреста крон.

Эдмунд некоторое время смотрел в стену над плечом Тэддера, где висела доска с ценами, и большим пальцем по очереди прижимал подушечки остальных пальцев к ладони — привычка, от которой он так и не избавился и которую окружающие обычно принимали за нервность. На самом деле он считал.

Четыреста крон за урну. Эдмунд получал за четыреста крон неприятностей примерно на полгода.

— Когда? — спросил он.

— Доктора говорят, недели три. — Тэддер пожал плечами. — Наш человек ездил осматривать площадку. Говорит, старик сидел в кресле и требовал показать ему схему подъема. Требовал, заметьте. Сидя. С пледом на коленях.

— Одиннадцать дней, — сказал Эдмунд.

— Что?

— Ничего. Ешьте.

Он положил на доску четыре кроны — ровно четыре и ни кроной больше, потому что человек, которому переплатили, запоминает лицо ничуть не хуже того, которому недоплатили. Тэддер сгреб их и немедленно сделался неинтересен.

Одиннадцать дней. Доктора всегда говорят три недели, и всегда ошибаются в одну и ту же сторону, потому что семье, которая платит, приятнее слышать про три недели. Эдмунд поправил их про себя до одиннадцати дней и вышел под мост, в мокрый ноябрьский свет, с ощущением, которое в его ремесле заменяло счастье: у него появилась работа.

Оставалось ее сделать.

Он снимал комнату в Соляном ряду, над мастерской Ансельма Дрейна, шлифовальщика линз, и снимал ее уже четыре года, что для Эдмунда Фарроу было равносильно родовому гнезду.

Комната была скверная: два окна, выходящие в колодец двора, наклонный потолок, вечная тонкая пыль, которая садилась на все и скрипела на зубах, если забыть закрыть чашку. Пыль шла снизу, от шлифовальных кругов. Зато снизу же шел и шум — ровный, зубной, немного пилящий, — и под этот шум в комнате наверху можно было делать почти что угодно. Человек, поднимающийся по лестнице Дрейна с футляром мелких металлических инструментов, не вызывал в Соляном ряду ни единой мысли. Он вызывал разве что сочувствие: опять, мол, понесли старику работу, а он и так не справляется.

Эдмунд запер дверь, снял пальто, повесил его на гвоздь, поправил, снял еще раз и повесил ровнее. Потом достал из-под кровати жестяной короб, крашенный черным лаком, с облупившимся желтым цветком на крышке, и поставил его на стол.

В коробе лежали люди.

Он разложил их по столешнице, как раскладывают карты: бумага к бумаге, письмо к письму, судьба к судьбе.

Томас Гелл, торговец шерстью из Дьюпорта, — сгорел. Совсем. Полтора года назад в Дьюпорте нашелся человек, который действительно знал торговлю шерстью, и Томас Гелл закончился за один обед, причем закончился так громко, что Эдмунд до сих пор избегал этой части побережья.

Брат Мозли, сборщик пожертвований на приют, — жив, но бесполезен. Слишком много церкви. Церковь помнит своих, а Эдмунд не любил учреждений с хорошей памятью.

Некий Хеверс, страховой агент, — годен на один вечер и не более, потому что вся его биография помещалась на одной карточке, а люди, которые страхуют, любят подробности.

И еще трое — недоделанные, недодуманные, брошенные на середине, как это бывает у всех ремесленников.

А в самом низу, отдельно, в собственном конверте из плотной бумаги, лежал Эллиот Фарн.

Эдмунд вынул конверт и некоторое время держал его в руках, не открывая.

Внутри была лицензия. Настоящая. С гербовой печатью гильдии оптических мастеров Велмонта, с номером, с росписью секретаря, с указанием разряда и года. Эллиот Фарн имел право изготавливать, подгонять и чинить линзы, оправы, окуляры, увеличительные стекла и приборы точной оптики, а также — и это было главное — имел право законно носить при себе инструмент, необходимый для означенных работ. Щипцы. Микровинты. Пинцеты. Набор тонких стержней. Полдюжины предметов, которые в кармане человека без лицензии назывались бы совершенно иначе, и назывались бы очень недолго, потому что после такого разговора обычно называют уже статьи.

При лицензии лежали два рекомендательных письма, счета за одиннадцать лет, квитанции из мастерских, переписка с поставщиком стекла и расписка в получении заказа от вдовы судьи, которая осталась довольна работой и написала об этом лишних три строчки.

Ни одна буква там не была подделана.

Эдмунд получил эту лицензию в девятнадцать лет, у Дрейна, внизу, и получил ее честно — то есть сдал экзамен, который принимали трое кислых стариков в шерстяных перчатках без пальцев. Мотивы у него тогда были самые дурные: ему нужна была профессия, объясня-

ющая инструменты. Но экзамен пришлось все-таки сдать, а чтобы его сдать, пришлось все-таки выучиться, и вот тут с Эдмундом Фарроу случилась единственная неприятность за всю его карьеру: ему понравилось.

Стекло не вралось. Стекло либо давало фокус, либо не давало. С людьми так никогда не выходило.

Он положил конверт обратно на дно короба и придавил остальными.

Фарном не работают. Фарн — это то, чем он будет, когда перестанет быть всеми остальными. Это комната, которую можно снять, деньги, которые можно получить по расписке, поезд, на который можно сесть, и человек, которого можно предъявить, если однажды кто-нибудь спросит, кто он вообще такой. У всех людей его ремесла есть такая вещь, и все они рано или поздно ее тратят, и по тому, на что именно тратят, видно, каким кто был мастером.

Эдмунд намеревался не тратить.

Он придвинул чистый лист и написал сверху:

Сын.

Потом подумал и приписал:

Незаконный.

Сын — это было лучшее, что можно предложить дому в трауре, и Эдмунд знал почему.

Кредитор приходит с бумагой, и бумагу можно оспорить. Шантажист приходит с угрозой, и на угрозу можно позвать полицию. Проситель приходит с рукой, и руке можно подать.

А незаконный сын приходит с лицом.

Лицо нельзя оспорить, на лицо нельзя позвать полицию, лицу нельзя подать три кроны и закрыть дверь. Лицо садится в углу гостиной и молчит, а все остальные постепенно сходят с ума, потому что каждый из них по очереди начинает думать: а ведь что-то есть. Не в глазах — так в подбородке. Не в подбородке — так в манере держать чашку.

Ничего в нем, разумеется, не было. Но в доме, где только что умер богатый человек, это неважно. В таком доме каждый и без того подозревает, что покойник унес с собой парочку сюрпризов, — и очень многие втайне надеются, что сюрпризы окажутся именно такими, недорогими, обозримыми и с руками, а не такими, которые приходят из банка.

Оставалось дать сыну мать.

Читальный зал Веллмонтского справочного общества помещался в двух сырых комнатах позади ратушного архива, брал полкроны в день и пускал кого угодно, потому что содержался на пожертвования человека, который сорок лет назад разбогател и с тех пор мстил городу просвещением.

Эдмунд просидел там три дня подряд.

Он не искал, что бы выдумать. Выдумывать — это для любителей, а любителей ловят в первую неделю, потому что выдумка всегда слишком стройна. Настоящая жизнь кривая. У настоящей семьи всегда кто-нибудь записан не в том приходе, у кого-нибудь перепутана дата, кто-нибудь уехал и не вернулся, и половина бумаг куда-нибудь делась, потому что бумаги имеют свойство деваться.

Эдмунд искал дырку.

Он нашел ее на третий день, в переплетенной подшивке церковных ведомостей Большого Колдрена, между отчетом о починке колокольни и жалобой на отсутствие угля.

Приход Грейвелл. Двести шестьдесят душ, из них половина при заводе. Приходские книги подтоплены при прорыве отводного канала девятнадцать лет назад; восстановлены частично; ведомость восстановления утрачена при переезде архива в Хейлфорд. Прихожанам, имеющим надобность в выписках, рекомендовано обращаться с письменным запросом.

Эдмунд перечитал это трижды и почувствовал то теплое, чуть постыдное довольство, которое испытывает столяр, нашедший доску без единого сучка.

Грейвелл был далеко. Грейвелл был в Большом Колдрене, где все подтоплено, задымлено, перевезено или перепутано. В Грейвелле были мертвые люди, которых нельзя проверить, — и при этом Грейвелл существовал, что было куда лучше, чем если бы его не существовало.

Оставалось найти семью.

Блэкморы отыскились в списке жертвователей на колокольню за год до наводнения: «вдова Блэкмор — 2 кроны, девица Блэкмор — 1 крона». Через семь лет фамилия исчезла из всех списков разом, как исчезают семьи, у которых кончились и деньги, и люди.

Эдмунд переписал обе строчки в книжечку и подчеркнул вторую.

Девица Блэкмор. Одна крона. Значит, при вдове, значит, незамужняя, значит, бедная, значит, гордая — потому что бедная незамужняя девица, которая жертвует крону на колокольню, всегда гордая; не было еще случая, чтобы не была.

Он написал:

Элеонора Блэкмор. Бедна. Горда. Красива ровно настолько, чтобы это стало ее несчастьем. Служила? Нет — шила. Уехала. Молчала. Умерла.

Этого хватало. Слишком подробная мать — это ошибка новичка. Мать должна быть как испорченная фотография: узнается общее, а частности каждый дорисовывает сам и потом яростно защищает, потому что дорисовывал их лично.

Оставалось посчитать время.

Это Эдмунд делал с наслаждением, потому что арифметика была единственной частью работы, в которой он был честен.

Письмо из внешнего столичного пояса в Грейвелл — три дня. Обратное — три. Итого шесть, и это если писать сразу.

Но никто не пишет сразу. Сначала в доме умирает человек. Потом его хоронят. Потом сидят с нотариусом. Потом две недели все ходят вполголоса и ничего не решают, потому что решать при незакрытом наследстве неприлично. Потом кто-нибудь наконец скажет: «Надо все-таки написать в этот их Грейвелл», — и ему ответят: «Разумеется, надо», — и напишут еще дня через два.

Потом письмо придет в приход, где книги подтоплены. Приходский священник — Эдмунд представлял его себе усталым, с большой спиной и шестью сотнями собственных забот — прочтет запрос, вздохнет и отложит на угол стола, потому что у него венчание, две панихиды и крыша. Через неделю он напишет, что книги, к сожалению, утрачены при подтоплении, и рекомендует обратиться в архив в Хейлфорде. Из Хейлфорда ответят, что ведомость восставления утрачена при переезде, и рекомендуют обратиться в приход.

Эдмунд подвел черту.

Девять дней. При некоторой удаче — двенадцать. При большой удаче — пока кто-нибудь не догадается послать живого человека, а живого человека посылают только тогда, когда сумма становится серьезной, а к тому времени Эдмунда уже не будет.

Девяти дней ему было более чем достаточно. Он рассчитывал управиться за шесть.

Сто тысяч крон, написал он внизу листа и обвел.

Это была наглая цифра. Хорошее годовое жалование специалиста в Веллгарде составляло тысяч пятнадцать — двадцать; сто тысяч были домом, экипажем и пятью годами полной свободы человека, у которого свободы не было никогда. Но Эдмунд рассуждал так: у Вентморов заводы, а у заводов люди, а у людей рты. Если незаконный сын сядет в гостиной и начнет рассуждать вслух при нотариусе, рты откроются. Сто тысяч — это не цена его молчания. Это цена того, чтобы не начинать считать, во сколько обойдется его разговорчивость.

Он всегда потом вспоминал этот вечер с большой нежностью. На листе перед ним лежала вся работа целиком — приход, мать, арифметика, сумма, — и сходилось решительно все.

Не сходилось только одно, и на листе этого не было, потому что Эдмунд Фарроу о нем еще не знал.

В доме Вентморов его ждали.

Глава 4: Королевский вереск

Последним делом был сам Натаниэль, и это была худшая часть.

Эдмунд поставил на стол зеркало, придвинул свечу и полчаса занимался тем, что портил собственное лицо.

Природа дала ему смуглость — ровную, теплую, южную, доставшуюся неизвестно от кого и не раз его выручавшую, потому что смуглый человек в Веллгарде мог оказаться кем угодно: моряком, перекупщиком, чьим-нибудь внуком, приезжим с юга. Смуглость была удобной. Смуглость была неопределенностью, а неопределенность Эдмунд ценил выше золота.

Но незаконный сын Сайласа Вентмора неопределенным быть не мог. Незаконный сын должен быть бледен — бледностью бедной комнаты, дурного питания и двадцати лет обиды. Поэтому Эдмунд взял пудру.

Пудра ложилась скверно и пахла мелом. Через два часа она начинала собираться в складках у носа, и приходилось помнить об этом каждую минуту, а помнить о чем-то каждую минуту — это ровно та роскошь, которой у работающего человека нет. Потом шел лак для волос, дешевый, желтоватый, от которого волосы делались как приклеенные и издавали при движении головы едва слышный сухой шорох. Потом одеколон.

Одеколон был отдельным произведением. Эдмунд когда-то, для другой работы, подбирал его две недели и остановился на составе, который продавался в москательной лавке под названием «Королевский вереск» и в котором вереска не было ни грамма. Он был сладкий, мыльный и настойчивый, и в нем отчетливо слышалась мысль его создателя: дешево должно пахнуть дорого.

Эдмунда от него мутило первые часа три. Потом он переставал его слышать, и это было хуже всего, потому что тогда он забывал, сколько от него несет.

Он посмотрел в зеркало.

Оттуда посмотрел бледноватый молодой человек с прилизанными волосами и внимательными глазами, одетый прилично, но на полразмера мимо, — из тех, кого зовут «тихий», пока не надоест, а потом зовут «этот». Он был почти жалок. Он был почти благороден. Он был в точности достаточно неприятен, чтобы за его исчезновение захотелось заплатить, и в точности недостаточно неприятен, чтобы его выставили за дверь при первом слове.

— Здравствуйте, — сказал Эдмунд зеркалу негромко, пробуя голос. Он подобрал для Натаниэля чуть излишнюю правильность речи — так говорят люди, выучившиеся приличиям по книгам, а не за столом. — Простите. Я понимаю, что не вовремя.

Он поморщился и повторил, убрав из «простите» одну десятую нахальства.

— Простите. Я понимаю, что не вовремя.

Вот теперь годилось.

Эдмунд задул свечу и лег, очень довольный собой, и заснул с мыслью, что у него еще семь дней.

У него было четыре.

«Велмонтский курьер» принесли, как всегда, в половине восьмого, и Эдмунд читал его, стоя у окна с чашкой, потому что стул в комнате был один и стоял под пальто. Первую полосу занимали выборы: Общество Порядка выражало уверенность, Союз Обновления Велмонта выражал возмущение, обе стороны выражали заботу о водоотводах. Вторую — Воздушная Гавань: испытания, страховые споры, письмо в редакцию от человека, полагавшего, что небо следует оставить птицам. В разрешениях и страховых бумагах ее именовали Аэровокзалом, в газетах — никогда.

Четвертая полоса начиналась с колонки некрологов.

«Скоропостижно, — прочел Эдмунд, — на шестьдесят четвертом году, в родовом имении Вентмор-Грейндж, скончался Сайлас Артур Вентмор, владелец Колдренских водоотводных предприятий...»

Чашка оказалась на подоконнике сама собой.

Скоропостижно. Замечательное слово. Оно означает, что доктора ошиблись в свою обычную сторону, что семья не успела подготовиться, что дом сейчас представляет собой то самое короткое и драгоценное состояние, ради которого Эдмунд Фарроу вообще жил, — состояние, в котором все растеряны, все заняты и никто еще не считает.

Оно также означало, что у него нет ни семи дней, ни пяти.

Эдмунд положил «Курьер» на стол и посмотрел на свои бумаги.

Элеонора Блэкмор была готова. Грейвелл был готов. Арифметика была готова.

Не было ничего остального: ни отца Элеоноры, ни того, на что она жила эти двадцать лет, ни причины, по которой она за все двадцать не написала ни строчки, ни ответа на вопрос, отчего сын узнал обо всем только теперь. Все это Эдмунд собирался додумать в последние три дня, не торопясь, с карандашом, как додумывают порядочные мастера.

Он посмотрел на часы. Он посмотрел на расписание поездов, которое лежало в коробе с самого начала, потому что расписание поездов лежало у него в коробе всегда.

Похороны будут через два дня. Может быть, через три, если ждут кого-нибудь из города. Больше — вряд ли: при таком распоряжении насчет праха тянуть нельзя, прах требует погоды, а погода не ждет.

Он мог остаться и доделать легенду как следует. Тогда он приехал бы в дом, где уже все похоронили, все оплакали, нотариус разложил бумаги, а семья успела сделаться семьей — то есть научилась защищаться сообща.

Или он мог ехать сейчас, с половиной легенды, и войти в единственную минуту, когда дом еще не дом, а толпа перепуганных людей в черном.

Эдмунд Фарроу впоследствии много раз возвращался к этому утру и каждый раз находил, что решение было правильным. Это его особенно и злило.

Он задвинул короб обратно под кровать — Фарн и все остальные оставались дома, как всегда, — и спустился.

Мастерская Ансельма Дрейна в половине девятого утра выглядела как место, где кто-то всю ночь думал и ничего не придумал. Круг стоял. Старик сидел перед ним, положив руки на колени, и смотрел на оправу, зажатую в деревянных губках тисочков, так, как смотрят на письмо с дурными известиями.

— Уезжаю на неделю, — сказал Эдмунд. — По делу.

— Угу, — сказал Дрейн.

Это «угу» означало, что комнату придержат, что вопросов не последует и что вопросов не последует никогда. На этом и держались их четыре года.

Эдмунд взялся было за дверную ручку, посмотрел на оправу еще раз и снял руку.

— Косит?

— Косит, — сказал Дрейн с отвращением. — Третий раз сажаю.

Эдмунд поставил чемодан на пол.

Это было глупо. Поезд отходил в четверть одиннадцатого, до Южного вокзала при хорошем ходе сорок минут, а всякая минута, проведенная не там, где нужно, в его ремесле стоила денег. Но он уже подошел, уже наклонился и уже взял оправу за самые концы дужек, двумя пальцами, как берут чужую работу.

— Вы ее грели?

— Грел.

— Сколько?

Дрейн поднял на него глаза.

— Пока не подалась.

— В том и беда. — Эдмунд повернул оправу к окну и прищурился вдоль ободка. — Вы ее греете, пока она не подается. А подается она раньше всего в самом слабом месте — вот тут, у шарнира. Поэтому стекло садится не в круг, а в каплю. И косит у вас не оправка. Косит ваше терпение.

— Мне семьдесят три года, — сказал Дрейн, — и я слышу это от человека, который у меня же и учился.

— У вас же, — согласился Эдмунд.

Он снял стекло, прогрел ободок ровно и по всей длине, не задерживаясь у шва, подправил посадочный поясик кончиком стержня, дал остыть и посадил стекло обратно. На все ушло шесть минут. Блики от окна легли по краю ровным неразорванным кольцом.

Дрейн взял оправу, поднес к свету, повертел и ничего не сказал — что у него означало высшую степень удовлетворения.

— Ты бы работал, — сказал он наконец. — Руки-то есть.

— Я работаю, — сказал Эдмунд.

— Ты ходишь. — Старик положил оправу на сукно. — Это разные вещи. Я одиннадцать лет вижу, как ты уходишь на неделю по делу, и ты возвращаешься с деньгами и без работы. Из этого бывает только один конец, и я его уже видел дважды.

— И какой?

— Скучный, — сказал Дрейн и пустил круг.

Дальше разговаривать было нельзя: круг взял свое, и в мастерской снова стоял ровный пилящий шум, под который так удобно было жить наверху.

Эдмунд вышел на улицу, и в голове у него было неприятно ясно.

Всю дорогу до вокзала он думал о том, что оправу посадил за шесть минут, а на Натаниэля Блэкмора у него ушло четыре дня, и Натаниэль Блэкмор все еще не сходиллся.

Стекло, думал он, по крайней мере никогда не спрашивает, кто ты такой.

На Южном вокзале он купил билет во второй класс на имя, которое не имело значения, и в четверть одиннадцатого выехал из Велмонта с половиной легенды и полным чемоданом уверенности.

Второй класс он брал не из скупости.

В первом с ним никто не заговорил бы: там разговаривают только с теми, кого уже знают, а с незнакомым обмениваются кивком и газетой. В третьем заговорили бы сразу все и обо всем, и это была бы не проверка, а ярмарка. Второй класс — единственное место в стране, где посторонний человек задает вам ровно те вопросы, какие потом задаст семья покойного: вежливые, скучные и совершенно смертельные.

Напротив Эдмунда сидела женщина лет пятидесяти с корзиной на коленях. Из корзины пахло копченым. Первый перегон она смотрела в окно с выражением человека, который твердо решил ни с кем не разговаривать, а на втором сдалась, как сдаются все.

— Далеко едете?

— В гости, — сказал Эдмунд.

И услышал себя.

Он сказал это своим голосом. Не тем, который полчаса выправлял перед зеркалом, — своим: слишком ровным, слишком уверенным, голосом человека, который знает, зачем едет, и не нуждается в сочувствии.

Он поправился на следующей же фразе, добавив ту чуть избыточную правильность, которая должна была выдавать выучившегося по книгам, и остался собой недоволен. Поправляться на второй фразе — это как застегивать пальто уже на улице: застегнуть можно, но все видели.

— К родне, — сказал он. — Первый раз.

— Ой, — сказала женщина, немедленно оживившись. — А что ж вы раньше-то не ездили?

Эдмунд открыл рот и обнаружил, что ответа у него нет.

Не то чтобы он вовсе ничего не придумал — за четыре дня он придумал сотню вещей. Но ответ на вопрос «что же вы раньше не ездили» должен был опираться на двадцать лет, которых он не сочинил. И женщина с корзиной нашла эту дыру за две станции, не прилагая ни малейших усилий, просто из вежливости.

— Не звали, — сказал он наконец.

Это было хорошо. Это было, пожалуй, даже отлично: коротко, горько и непроверяемо. Женщина поджала губы, покивала с видом человека, которому только что подтвердили все, что он всегда думал о людях, полезла в корзину и достала пирог. Следующие сорок минут Эдмунд ел чужой пирог и слушал про ее деверя, который тоже, между прочим, хорош.

Но он запомнил две вещи.

Первая: ответ пришел на пять секунд позже, чем следовало. В доме, где считают, эти пять секунд стоят дороже пирога.

Вторая, и худшая: он придумал его не заранее. Он придумал его вслух, при свидетеле, на ходу.

В его ремесле это называлось работать без сетки. Люди, которые так работали, обыкновенно доживали до тридцати пяти.

Эдмунду Фарроу было тридцать.

Половины легенды хватило на девять дней.

Уверенности — до третьего экипажа, в котором сидела маленькая старуха в чепце и держала на коленях лорнет.

Глава 5: Погода оказалась против

На лужайке, в пятидесяти шагах от дверей часовни, стоял воздушный катер.

Вблизи он был больше и хуже. Оболочка ходила волнами. Гондола висела низко, и в ней уже сидел человек в кожаном шлеме, а второй, постарше, в брезенте, стоял внизу у троса и глядел на верхушки вязов с очень нехорошим лицом.

Рядом с ним стоял молодой человек в котелке, с плоским кожаным футляром, и держал на вытянутой руке прибор.

— Это еще кто? — спросил кто-то за спиной Эдмунда.

— Страховая контора, — ответили ему. — «Малрой и Стэйк». С анемометром.

Эдмунд едва не рассмеялся вслух и вынужден был опустить голову и изобразить, что вытирает глаза.

До этого была часовня — маленькая, холодная и такая старая, что новые деньги в нее не поместились. Эдмунда посадили в предпоследнем ряду, и он вставал, когда вставали, садился, когда садились, и один раз опоздал — ровно настолько, чтобы это заметили те, кому положено замечать.

Преподобный Дэнн говорил семнадцать минут и ни разу не сказал о покойном ничего, что можно было бы проверить: человек труда, человек воли, человек своего времени, требователен — «прежде всего к себе», добавил он с тем нажимом, от которого передние ряды шевельнулись.

Про доброту не было сказано ни слова. Эдмунд отметил это с профессиональным уважением: человек, которому нечего сказать, обычно говорит про доброту.

Из часовни вынесли в четверть двенадцатого, и вот тут начался спектакль, ради которого приехали газетчики.

Гроб опустили в семейном склепе — быстро, деловито, без задержки, потому что главная часть церемонии была впереди, а в склепе лежало, строго говоря, уже не все.

Прах привезли отдельно, в парк, на тележке, покрытой черным сукном.

Устройство этой части Эдмунд оценил еще утром по обрывкам разговоров, а теперь увидел целиком и остался в восхищении. Сайлас Вентмор пожелал быть похороненным дважды. Тело — в землю, по обычаю, при родне и духовенстве. Сердце — так это называлось в распоряжении, хотя все понимали, что имеется в виду просто вторая, меньшая урна, — в воздух, с борта, над собственным парком, «дабы часть моя осталась над теми угодами, кои я приобрел своим трудом».

Эдмунд подумал, что за всю жизнь не встречал более откровенного человека. Старик не написал «над землей, которую я любил». Он написал «кои я приобрел».

Урна стояла на тележке под стеклянным колпаком. Медь с зеленой эмалью, четыреста крон, страховка отдельным пунктом.

Все было в точности как надо. Богатейший человек Колдренских водоотводов, который тридцать лет гнул под себя подрядчиков, инженеров, городские комиссии и, судя по лицу преподобного Дэнна, некоторое количество живых людей, — лежал в медной банке под стеклом и ждал, пока молодой человек в котелке посмотрит на прибор и разрешит.

Ждали двадцать минут.

Семья стояла под зонтами. Гости стояли под зонтами. Газетчики не стояли под зонтами, потому что газетчики были без зонтов, и от этого работали особенно охотно.

Ветер шел порывами. В промежутках делалось почти тихо, и тогда все начинали шевелиться и поворачиваться к лужайке, и аэронавт в брезенте поднимал руку, и все замирали, и тут по верхушкам вязов проходило, и рука опускалась.

На двадцать второй минуте Артур Вентмор пересек лужайку и подошел к молодому человеку в котелке.

Эдмунд стоял достаточно близко, чтобы слышать. Он вообще старался стоять достаточно близко, чтобы слышать; это была основа его благосостояния.

— Сколько? — спросил Артур.

— Четырнадцать, сэр. — Молодой человек говорил бодро, как человек, довольный своим прибором. — При порывах до девятнадцати.

— А допускается?

— Двенадцать, сэр. При порывах до пятнадцати. — Он перевернул футляр, вынул сложенный лист и развернул его двумя руками, бережно, как ноты. — Пункт одиннадцатый, подпункт «б». При превышении страховое покрытие не действует, и в случае утраты или повреждения предмета...

— Я знаю, что написано в пункте одиннадцатом, — сказал Артур. — Я его подписывал.

— Разумеется, сэр.

— Мой отец оплатил этот полет вперед.

— Полностью, сэр, — согласился молодой человек с большим удовольствием. — Что и позволяет нам, при отмене по метеоусловиям, перенести вылет без дополнительного взноса.

— Перенести на когда?

Молодой человек посмотрел в небо — не профессионально, а просто так, как смотрит всякий, кого спросили про погоду.

— Во вторник обещают тише.

Эдмунд впоследствии считал эту сцену лучшим, что ему довелось наблюдать в Веллгарде, и при случае рассказывал о ней в трех разных городах, каждый раз выдавая себя за одного из газетчиков.

Артур постоял секунды три.

Потом повернулся и пошел обратно к семье — тем же самым ровным шагом, каким спускался утром по ступеням, и по лицу его нельзя было понять ничего, кроме того, что разговор окончен.

— Погода не позволила, — сказал он.

Он сказал это не громко. Но сказал в ту сторону, где стояли газетчики, и Эдмунд понял, что это и есть завтрашняя строчка, и что Артур Вентмор только что за две секунды выбрал, какой именно она будет.

Старуха в чепце подняла лорнет.

— Значит, в землю, — сказала она отчетливо.

— Нет, тетушка.

— В землю, Артур. Он тридцать лет портил воздух этому графству, хватит с него.

Где-то в задних рядах кто-то не выдержал и фыркнул, и немедленно закашлялся.

— Во вторник, тетушка, — сказал Артур.

— Во вторник я, может быть, не доживу.

— В таком случае, — сказал Артур, — вас развеют вместе.

Старуха посмотрела на племянника сквозь лорнет очень долго, а потом опустила его и сказала:

— Хорошо, что твой отец этого не слышал.

Урну увезли обратно в дом.

Ее внесли через парадные двери, под зонтом, и поставили в холле на мраморный столик у зеркала — временно, до вторника, потому что в оружейной сыро, а в кабинете нотариус.

Там она и простояла всю ту неделю, которая изменила городскую политику Велмонта. Каждый, кто входил в Вентмор-Грейндж, снимал шляпу у зеркала и видел рядом со своим отражением зеленовато-медную банку с покойным хозяином, который так и не улетел.

Эдмунд впоследствии думал, что если бы ему понадобилось объяснить иностранцу, что такое Веллгард, он не стал бы ничего рассказывать ни про герцога, ни про канцлера, ни про пневматическую почту.

Он рассказал бы про столик у зеркала.

Поминали в длинной гостиной нового крыла — там, где потолки были ниже, а окна одинаковые.

Эдмунд взял бокал, не отпил из него ни глотка за два часа и работал.

Работа состояла в том, чтобы стоять у стены, никому не мешать, иметь несчастный вид и слушать. За два часа он узнал следующее.

Что покойный оставил после себя заводы, доли, оборудование, землю, лицензии и «обязательств на приличную сумму» — последнее было сказано подрядчиком в дурных перчатках и сказано с тем особым сладострастием, с каким люди сообщают чужие неприятности.

Что нотариус Уэйборн приехал еще в четверг и с тех пор не выходит из кабинета.

Что «от Варренхольмов ждут человека» — эту фразу Эдмунд услышал трижды, от трех разных людей, и все трое произносили ее одинаково: с паузой перед фамилией.

Что старую даму зовут Августа, что она сестра покойного и старше его на семь лет, и что «она теперь уже не всегда».

И что девушку зовут Клара.

— Мисс Клара, — говорила ей леди Мэррик, соседка с двумя дочерьми, держа обе ее руки в своих, — милая, вы не должны все тащить одна. Скажите только слово.

— Скажу, — ответила Клара.

— Непременно скажите!

— Непременно скажу, — согласилась Клара, и соседка ушла совершенно утешенная, а Эдмунд, стоявший в шести шагах, отметил, что мисс Клара Вентмор за весь разговор не пообещала ровным счетом ничего.

Через четверть часа она подошла к нему сама.

Она не подкрадывалась и не делала вида, что оказалась рядом случайно. Она просто пересекла гостиную по прямой, остановилась в двух шагах и сказала:

— Вы ничего не едите.

— Мне не хочется, — сказал Эдмунд.

— Тут все ничего не едят, — сказала Клара, — и весь стол увезут обратно на кухню, а кухарка будет плакать. Возьмите хоть пирог.

Эдмунд взял пирог.

Вблизи она оказалась не такой, какой была на ступенях. На ступенях она была прямая и неподвижная, как все остальное в том дворе. Вблизи выяснилось, что у нее быстрые руки: пока она говорила, она переставила бокал, поправила свечу и сдвинула вазу на два дюйма вправо, и все это не глядя, как двигают вещи в собственной комнате.

— Клара Вентмор, — сказала она. — Я дочь покойного.

Он чуть склонил голову.

— Натаниэль Блэкмор.

— Я знаю. — Она смотрела на него прямо и без всякой враждебности, и это было хуже враждебности. — Вы приехали очень быстро.

— Простите?

— Из Колдрена, — сказала Клара. — Отец умер в среду вечером. Сегодня суббота. Вы уже здесь.

Эдмунд успел испугаться, обрадоваться и рассердиться в течение одной секунды, и ни одно из этих чувств не вышло наружу, потому что за одиннадцать лет он приучился держать лицо отдельно от всего остального.

Испугался он потому, что это был отличный вопрос.

Обрадовался — потому что у него был ответ.

А рассердился на себя: он должен был подготовить этот ответ заранее и не подготовил, и теперь ответ у него имелся только по счастливой случайности, а счастливые случайности Эдмунд Фарроу в работе не уважал.

— Я не был в Колдрене, — сказал он. — Я был в Велмонте.

— Вот как.

— Второй месяц. — Он посмотрел в бокал. — Я искал место.

— Какое?

— Любое, — сказал Эдмунд, и вот тут он позволил себе первую настоящую интонацию за весь день — короткую, сухую, без жалости к себе, потому что жалость к себе всегда фальшива, а сухость почти никогда. — Мисс Вентмор, я прочел о смерти вашего отца в «Курьере» за завтраком, в комнате, которую снимаю помесечно. Мне не пришлось никуда ехать из Колдрена. Мне пришлось решить, идти ли мне сегодня на похороны или в понедельник в контору, где мне, скорее всего, откажут. Я решил в пользу похорон.

Он помолчал ровно столько, сколько нужно.

— Полагаю, вам это кажется расчетливым.

— Мне это кажется правдой, — сказала Клара.

— Это редко одно и то же.

— Да, — согласилась она. — Поэтому я и обратила внимание.

Она поправила вазу еще на дюйм.

— Вы едите пирог, — заметила она.

Эдмунд посмотрел на свою руку. Он действительно ел пирог.

— Он хороший, — сказал он с искренним удивлением.

— Это единственное, что в этом доме хорошо, — сказала Клара Вентмор и ушла.

Эдмунд остался у стены с половиной пирога и с очень странным ощущением.

Он привык, что люди, разговаривая с ним, чего-нибудь хотят: поверить, не поверить, поймать, помочь, показать себя. Эта не хотела ничего. Она подошла, взяла пробу и ушла, и он не мог отделаться от чувства, что пробу взяли не у Натаниэля Блэкмора.

Экономку он нашел сам, ближе к вечеру, потому что искал.

Правило было простое и никогда его не подводило: в любом доме есть человек, который знает, где что лежит, и этот человек почти никогда не сидит за столом. Эдмунд спустился в буфетную под предлогом стакана воды и обнаружил ее там — плотную женщину лет пятидесяти пяти, в черном платье без единого украшения, которая пересчитывала вернувшиеся с поминок блюда и записывала числа в тетрадь, придерживая ее левым локтем.

— Простите, — сказал Эдмунд. — Мне бы воды.

Она подняла глаза, посмотрела на него две секунды и налила воды.

— Благодарю вас. — Он взял стакан. — Я, кажется, всем сегодня мешаю.

— Мешаете, — сказала она.

Эдмунд слегка растерялся. Он рассчитывал на «что вы, сэр».

— Простите.

— Не мне, — сказала экономка и вернулась к блюдам. — Тринадцать, четырнадцать. Мне вы не мешаете, я вас не звала и не выгоняла. Вы мешаете мисс Кларе.

— Я не имел намерения...

— Господин Блэкмор.

Она отложила карандаш, и это было первое движение, которое она сделала не по делу.

— Я в этом доме сорок один год, — сказала она. — Меня зовут Агата. Я скажу вам одну вещь, и на этом мы, я надеюсь, закончим и больше к этому не вернемся.

— Слушаю вас.

— Волосы, — сказала Агата.

Эдмунд не шевельнулся.

— Простите?

— Такой лак, — сказала Агата, — продают в москательных по восемь крон за пинту, и он воняет клеем через два часа. Им пользуются приказчики, чтобы не растрепаться за прилавком. — Она снова взяла карандаш. — Сыновья богатых людей, даже незаконные, даже бедные, даже очень бедные, такого лака не покупают. Они вообще не покупают лака. Им не приходит в голову, что волосы надо чем-то мазать.

Она поставила галочку в тетради.

— Пятнадцать, — сказала она.

Эдмунд допил воду.

Он давно приучил себя не спорить с прислугой — не из деликатности, а потому, что спорить с прислугой бесполезно: прислуга не судит, прислуга знает. Но кое-что здесь можно было спасти, и он попробовал.

— Вы скажете господину Вентмору?

Агата подняла на него глаза, и в них впервые появилось что-то вроде интереса — не к нему, а к вопросу.

— Стакан поставьте, пожалуйста, вон туда.

Артур подошел к нему в холле, около десяти, когда гости разъезжались и в дверях гулял сквозняк.

Эдмунд стоял у зеркала. Урна стояла рядом. Он как раз прикидывал, во сколько обошлась эмаль, и потому не заметил Артура, пока тот не оказался в двух шагах, — что случилось с ним примерно раз в год и всегда означало, что он устал.

— Завтра в одиннадцать, — сказал Артур. — Кабинет в старом корпусе, второй этаж, Бримли вас проводит.

— Благодарю вас.

Артур не ушел.

Он стоял, держа руки за спиной, и смотрел на урну, и Эдмунд, который за сегодняшний день научился читать его примерно на одну десятую, понял, что сейчас будет вопрос.

— Грейвелл, — сказал Артур.

— Да.

— Приход чей?

Это Эдмунд приготовил.

— Святого Агаллия, — сказал он. — Там его зовут просто «нижняя церковь», потому что верхнюю снесли еще при...

— Я не спрашивал, как ее зовут, — сказал Артур.

Он повернул голову и посмотрел на Эдмунда.

— Вы знаете, где это?

— Разумеется, — сказал Эдмунд. — Я там родился.

— Я спросил не поэтому.

Пауза была очень короткая. Позже Эдмунд насчитал в ней всего два удара сердца, и оба своих.

— Грейвелл, — сказал Артур Вентмор, — в семи милях от Хейлфорда.

— Да, — сказал Эдмунд.

Он сказал это спокойно и с легким недоумением, потому что не имел ни малейшего понятия, что ему полагается ответить, и выбрал самое безопасное — подтвердить факт и подождать.

Артур смотрел на него еще секунды четыре.

Потом кивнул — очень коротко, самому себе, — и сказал:

— В одиннадцать.

И ушел наверх, через две ступени, быстрее, чем ходил весь день.

Глава 6: Дом, который проглотил завод

В одиннадцать Бримли пришел сказать, что господин Вентмор занят с нотариусом и просит перенести на после обеда.

В два часа Бримли пришел сказать, что господин Вентмор все еще занят с нотариусом и просит перенести на завтра.

Эдмунд поблагодарил, закрыл дверь и сел на кровать.

Он не рассердился. Он даже испытал что-то вроде удовольствия — того холодноватого удовольствия, какое испытывает игрок, когда противник делает хороший ход. Его не выгнали. Его не выслушали. Его поставили ждать, а ожидание в таком доме стоит дорого: каждый час ожидания незаметно превращает человека, пришедшего с требованием, в человека, живущего из милости.

Артур Вентмор понимал в этом больше, чем следовало бы понимать честному человеку. — Хорошо, — сказал Эдмунд вслух.

Раз ему подарили день, он потратит его с пользой. Он пойдет смотреть дом.

Вентмор-Грейндж, изученный на трезвую голову, оказался еще лучше, чем снаружи, — в том смысле, в каком бывает хорош механизм, который никто не собирался никому показывать.

Старый корпус был изношен. Три этажа, широкая лестница, скрипучий паркет, портреты в галерее второго этажа — четырнадцать штук, все Вентморы, все в темном, все с одинаково недовольными ртами. Эдмунд прошел галерею дважды. В первый раз — как положено, медленно, с выражением. Во второй — быстро, считая.

Портретов было четырнадцать, а гвоздей в стене — пятнадцать.

Пятнадцатый висел ближе к окну, и над ним, на выцветших шелковых обоях, отчетливо читался прямоугольник посветлее — примерно два фута на полтора. Эдмунд постоял перед пустым местом, потрогал гвоздь, нашел его прочным и убрал руку.

Кого-то сняли. Сняли не вчера: пыль на гвозде была старая. Но сняли и не вешали обратно, что означало, что светлый прямоугольник живет на этой стене годами и все Вентморы каждый день ходят мимо него в столовую.

Он записал это в память под рубрикой «пригодится» и пошел дальше.

Новое крыло начиналось за дверью, обитой зеленым сукном, и начиналось сразу: паркет кончался, шел линолеум, портретов не было вовсе. Здесь пахло чернилами, углем и немного резиной. Здесь были одинаковые двери с эмалированными табличками: «Счетоводство», «Корреспонденция», «Чертежная», «Архив (I)», «Архив (II)».

Дом, в котором два архива, — подумал Эдмунд с нежностью, — это дом, в котором есть что прятать и не хватило места.

В конце коридора была дверь без таблички, приоткрытая, и оттуда шло шелканье.

Эдмунд заглянул.

Телеграфная была маленькая, как чулан, и обставлена с той трогательной серьезностью, с какой обставляют дорогие игрушки. Аппарат на столе под стеклянным колпаком. Катушка ленты. Журнал в кожаном переплете, разлинованный от руки. Полка с тремя справочниками и коробкой бланков. За столом сидел мальчишка лет девятнадцати в нарукавниках и с несчастным лицом переписывал что-то в журнал.

— Извините, — сказал Эдмунд. — Я, кажется, заблудился.

— Тут все путаются, сэр, — сказал мальчишка, обрадовавшись живому человеку. — Вам в дом — назад и налево, в зеленую дверь.

— Благодарю. — Эдмунд не двинулся с места. Он смотрел на аппарат с откровенным восхищением, которое ему не приходилось изображать. — Это что же, прямо в Велмонт?

— В Велмонт, сэр, на Хайгейтскую станцию, а оттуда куда угодно. — Мальчишка приосанился. — Господин Сайлас провел линию девять лет назад. Говорили — не окупится. Окупилось за два года.

— И часто вы...

— Да как сказать. — Мальчишка вздохнул и кивнул на журнал. — Когда двадцать штук в день, а когда три. Нынче вот вторую неделю без остановки: и поверенные, и контора, и Хейлфорд, и опять поверенные...

— Хейлфорд, — сказал Эдмунд.

Второй раз за сутки. Он все-таки отметил это.

— Заводы там, — сказал мальчишка равнодушно и перевернул страницу.

Эдмунд поблагодарил еще раз и вышел, унося в голове три вещи: что аппарат стоит в комнате без замка; что журнал ведет мальчишка девятнадцати лет, скучающий и разговорчивый; и что бланки лежат в открытой коробке на полке, и в коробке их много.

Он пока не знал, зачем ему это. Он просто складывал.

Кабинет покойного он нашел на обратном пути и как раз вовремя.

Дверь была распахнута, и в коридоре стояли трое: Артур, маленький круглый человек в очках, который мог быть только нотариусом Уэйборном, и Бримли с подносом. На подносе лежали сургуч, свеча и печать.

Эдмунд остановился поодаль, у окна, и стал смотреть в парк с видом человека, которому очень интересен парк.

— ...опись завершена, — говорил нотариус. — Сорок одна позиция, включая содержимое обоих бюро. До утверждения раздела я обязан рекомендовать...

— Опечатавайте, — сказал Артур.

— Ключ, разумеется, остается у вас, но я обязан предупредить, что при наличии сомнений...

— Уэйборн.

— Да?

— Опечатавайте.

Нотариус вздохнул, взял свечу и наклонился к двери.

Эдмунд смотрел в парк и видел все в стекле.

Он видел, как ложится на скобу шнур, как капает сургуч, как нотариус придавливает печать и держит три секунды. Он видел, что скоба старая, а шурупы новые. Он видел, что дверь кабинета одностворчатая, тяжелая, с врезным замком, и что над ней — фрамуга, покрашенная белым, но с петлями.

И он видел лицо Артура Вентмора, который смотрел на все это, заложив руки за спину, и не испытывал ни малейшего облегчения.

«Он не хочет, чтобы туда зашли, — подумал Эдмунд. — И он не уверен, что печать поможет».

Это была совершенно верная мысль, и Эдмунд сделал из нее совершенно неверный вывод. Он решил, что в кабинете лежит завещание, невыгодное кому-то из родни.

Виктор поймал его после обеда, в оранжерее, и поймал явно нарочно: он делал вид, что смотрит на пальму, а на пальму в этом доме никто никогда не смотрел.

Он взял Эдмунда за рукав, повлек вглубь, между кадками, и понизил голос до такого шепота, который слышно через две кадки: у Артура завтра ничего не подписывать и ничего не брать, он предложит мало и скажет, что это много.

— Вы держитесь, — сказал Виктор. — Вы главное держитесь, а я вам подскажу когда.

Подробностей он не спросил ни одной: ему было все равно, кто такой Натаниэль Блэкмор. Ему нужен был рычаг.

— Я подумаю, — сказал Эдмунд.

Виктор отпустил рукав, но не ушел. Он постоял еще, покачался с носка на пятку и вдруг сказал совсем другим, почти жалобным голосом:

— А пальму эту, между прочим, я привез. Из Дьюпорта. Двенадцать лет назад, вот такую. — Он показал ладонью у колена. — Дядя сказал: зачем? А теперь вон какая.

Эдмунд посмотрел на пальму. Пальма была большая, пыльная и совершенно ничья.

— Хорошая пальма, — сказал он.

— То-то, — сказал Виктор и ушел, очень довольный, а Эдмунд еще с минуту стоял между кадками и думал, сколько в этом доме таких пальм — вещей, которые кто-то когда-то привез и которых с тех пор никто не замечает, кроме того, кто привез.

Около четырех он пошел пройтись до деревни и на четвертой ступени крыльца обнаружил за плечом Бримли, который счел прогулку прекрасным намерением и пошел рядом, ровно на полшага сзади, — показал церковь, посетовал на колокол, посоветовал лавку, где хороший табак.

Эдмунда никто не задерживал и ничего ему не запретили. Эдмунду просто ни на минуту не дали остаться одному за пределами двора, и сделано это было с такой изысканной услужливостью, что пожаловаться было решительно не на что.

Лавка, где хороший табак, оказалась лавкой, где табак, чай, свечи, дробь и почтовые марки продавались с одного прилавка, а за прилавком стоял человек, который при виде Бримли выпрямился так, будто вошел не дворецкий, а акцизный.

— Для господина Блэкмора, — сказал Бримли. — Что пожелает.

Эдмунд пожелал унцию «Капитанского» и, когда лавочник уже заворачивал, как бы между делом спросил, не ведут ли тут книгу для дома.

— Для Грейнджа? Как не вести, сэр. — Лавочник покосился на Бримли. — С покойного хозяина еще.

— Тогда запишите, — сказал Эдмунд. — И вот это, пожалуй, тоже.

«Вот это» было коробкой спичек, пачкой почтовой бумаги и плиткой шоколада, которая лежала под стеклом, судя по пыли, с позапрошлого Рождества.

Лавочник записал. Бримли не сказал ничего. Бримли смотрел на полку с дробью так внимательно, будто собирался на охоту.

Только на обратной дороге, у самых ворот, он произнес, не поворачивая головы:

— Шоколад, сэр, мисс Клара в детстве тоже записывала на дом. Ей тогда было девять лет.

— И что же?

— Покойный хозяин вычитал его из ее карманных денег, — сказал Бримли. — С процентом.

Эдмунд подумал и решил, что это самое ценное, что он купил за день, и что обошлось оно ему, строго говоря, даром — ровно так, как он любил.

Шоколад он съел вечером, у себя, весь, глядя в окно на парк. Шоколад был старый, посевший с боков, и совершенно превосходный — как всякая вещь, за которую платит кто-то другой.

Комната, которую ему отвели, была хорошая: третий этаж старого корпуса, окно в парк, кровать с балдахином, умывальник с голубым узором, коврик.

Эдмунд вошел, закрыл за собой дверь и постоял, не зажигая свечи.

Потом подошел к чемодану.

Он оставил его утром так, как оставлял всегда: крышка прикрыта, но не защелкнута, левый ремень продет в пряжку, правый — просто заложен, рубашка сверху лежит воротником к петлям. Он проделывал это восемь лет подряд и уже не помнил, когда приучился.

Крышка была прикрыта. Левый ремень продет. Правый заложен.

Рубашка лежала воротником к петлям.

И она была сложена лучше, чем он ее складывал.

Эдмунд опустился на край кровати и некоторое время сидел, глядя на свой аккуратный, ни в чем не повинный чемодан.

Его не обокрали. Ничего не взяли — брать было нечего: он привез с собой ровно то, что мог показать кому угодно, потому что человек его ремесла не возит с собой ничего, чего не может показать. Его даже не обыскивали грубо. Его обыскали с уважением. Кто-то прошел по его вещам внимательно, спокойно и бережно, вернул все на место, а рубашку, будучи не в силах смотреть на такое, заодно переложил как следует.

Он встал, подошел к двери и осмотрел ее.

Петли новые. Ручка старая, латунная, хорошая. Замочная скважина есть.

Ключа нет.

Он вышел в коридор и прошелся до лестницы, заглядывая по дороге. В соседней двери слева ключ торчал. В следующей — торчал. Напротив — торчал.

Он вернулся, встал у своей двери и посмотрел на голую скважину.

Потом посмотрел в оба конца коридора.

Слева, в трех шагах, начиналась узкая лестница для прислуги — та, по которой утром и вечером носят воду и уголь, то есть та, по которой мимо его двери за сутки проходит человек тридцать.

Справа, через комнату, была дверь с медной табличкой «Мисс Вентмор».

Глава 7: Дядя Аврелий

К ужину его позвали официально — Бримли поднялся на третий этаж и сообщил, что господин Вентмор просит господина Блэкмора к столу.

Эдмунд поблагодарил и потратил двадцать минут на то, чтобы выглядеть хуже.

Это была тонкая работа. Человек, которого позвали к столу в богатом доме, непременно постарается; постарается он неумело, и неумелость должна быть видна, но не должна быть смешной, потому что смешного жалеть не станут. Эдмунд отгладил воротничок краем ладони, повязал галстук чуть туже, чем следовало, и проверил пудру.

Пудра держалась. Лак держался. «Королевский вереск» держался особенно.

В гостиной до ужина сидела одна Августа.

Она устроилась у камина, в кресле с высокой спинкой, обложившись подушками, и держала на коленях книгу, которую не читала. Огонь горел плохо. В комнате пахло фиалковым корнем, дымом и старым деревом.

— Садитесь, — сказала она, не оборачиваясь. — Вы дымите на меня от двери.

Эдмунд сел напротив, на неудобный стул.

Некоторое время они молчали. Августа время от времени подносила к глазам лорнет, смотрела в книгу, опускала лорнет и вздыхала.

Он наблюдал за этим три раза и на четвертый не выдержал.

Дело было в том, что она мучилась. Она поднимала лорнет, ловила строку, теряла ее, чуть поворачивала голову, снова ловила — и всякий раз склоняла голову к левому плечу, а это означало, что правым глазом она уже не читает вовсе и сама об этом не догадывается, потому что оправа перекошена и правое стекло уводит.

Косая правая линза. Он увидел это еще в экипаже.

— Позвольте, — сказал Эдмунд.

Он протянул руку прежде, чем успел подумать, и Августа, к собственному изумлению, отдала ему лорнет.

Дальше все произошло само.

Он поднес оправу к свету, посмотрел на просвет, повернул на четверть, нашел, что искал: винтик в шарнире разболтался, и правая чашка села в гнездо на волос ниже, чем надо. Микровинта у него с собой, разумеется, не было. Была булавка в лацкане.

Эдмунд снял булавку, зажал оправу в левой ладони — так, чтобы стекло легло на подушечку большого пальца и не поймало ни одного лишнего касания, — вставил острие в шлиц, дал четверть оборота, подумал, дал еще восьмушку. Потом надавил мизинцем на ободок, чуть-чуть, сверху вниз, и чашка встала.

Он проверил на просвет еще раз,дохнул на стекло, протер его углом платка и подал обратно.

Вся операция заняла, наверное, секунд сорок, и он не смотрел на то, что делает: он смотрел в огонь. Руки делали сами. Они всегда делали сами.

Августа подняла лорнет к глазам.

— О, — сказала она.

Она посмотрела в книгу. Потом на огонь. Потом на Эдмунда — долго, отчетливо, впервые за два дня действительно увидев его лицо.

— Ну надо же, — сказала она. — Смотрите-ка.

— Там винт разошелся, — сказал Эдмунд. — Он еще разойдется, его надо бы затянуть по-настоящему.

— Тридцать лет, — сказала Августа. — Тридцать лет я думала, что это я.

Она опустила лорнет и сжала его обеими руками, и вид у нее сделался такой, будто ей вернули что-то, о пропаже чего она не решалась никому сказать.

Эдмунд ощутил короткий, неуместный, довольно неприятный укол в области, которая у него отвечала за совесть и обычно пустовала.

Он немедленно перевел это в рабочее русло: отлично, старуха его теперь любит, старуха — источник, источники надо беречь. Кроме того, работа стоила по прейскуранту Дрейна крону с четвертью, и Эдмунд мысленно выписал счет, который никто никогда не оплатит, — это утешило его больше всего остального.

Ему это почти удалось.

В дверях стояла Клара.

Он не знал, сколько она там стоит. Она не вошла и не поздоровалась; она стояла, держась за косяк, и смотрела на его руки, которые уже лежали на коленях и ничего больше не делали.

— Ужин подан, — сказала Клара.

Стол в Вентмор-Грейндже был на восемнадцать персон, и за ним сидело пятеро.

Это само по себе было зрелище. Артур во главе. Августа по правую руку. Клара — по левую. Виктор — через один прибор от Августы, что он воспринимал как оскорбление и демонстрировал это тем, что говорил громче всех. Эдмунда посадили на дальнем конце, наискосок от Виктора, то есть настолько далеко от хозяина, насколько позволяли приличия, и настолько близко, чтобы все было слышно.

Свечей зажгли половину. Эдмунд оценил это как решение хозяйственное, а не траурное, и оценил правильно.

Первые двадцать минут говорил Виктор.

Он говорил про выборы. Он был решительно за Общество Порядка, потому что «порядок есть порядок», и против Союза Обновления, потому что «эти придут — и все пересчитают». Он дважды сказал «попомните мое слово» и один раз «я человек прямой». Артур ел суп. Клара переставила солонку.

— А вот вы что скажете, — вдруг обратился Виктор через стол. — Вы же из Колдрена. У вас там небось за Обновление?

Эдмунд положил ложку.

Это была ловушка, хотя Виктор ее не ставил: Виктор просто искал, кому бы возразить. Но ответ все равно требовался, а Эдмунд, к своему неудовольствию, о колдренской политике знал ровно то, что вычитал в «Курьере» за четверг.

— У нас там, — сказал он, — за то, чтобы насосы работали.

Артур поднял голову.

Это было первое движение, которое он сделал за весь ужин, и Эдмунд, увидев его, мгновенно понял, что сказал что-то не то. Он не понял, что именно. Он решил, что попал в семейное — в заводы, в отца, в дела, о которых при столе не говорят.

— Разумно, — сказал Артур и вернулся к тарелке.

Виктор, не заметив ничего, пустился объяснять, что насосы — это подряды, а подряды — это все.

И тут заговорила Августа.

Она положила вилку и посмотрела на Эдмунда через стол, и сказала совершенно отчетливо:

— Вы держите вилку, как он.

За столом стало тихо.

— Кто, тетушка? — спросила Клара.

— Тот, — сказала Августа. — Второй. Который пил.

Виктор хохотнул.

— Тетушка, тут все пили.

— Не ты, — отрезала Августа. — Ты не пил, ты только рассказывал. — Она снова повернулась к Эдмунду, и лорнет пошел вверх. — Второй. Который приезжал зимой. Он всегда ставил локоть на стол, вот так, и держал вилку вот так, и Сайлас кричал на него в коридоре, а он смеялся.

— Тетушка, — мягко сказала Клара, — это, наверное, дядя Освальд.

— Освальд не смеялся. Освальд был как рыба. — Августа нахмурилась и опустила лорнет. — Нет, тот. Который из Колдрена.

Эдмунд поставил бокал.

Позже, много позже, он пытался вспомнить, был ли в этот момент какой-нибудь расчет, — и честно признавался себе, что не было. Не было ни секунды на размышление. Была только та пустая, звенящая, совершенно счастливая ясность, которая приходит к его брату-ремесленнику примерно раз в год и в которую надо успеть встать, пока не закрылась.

Он посмотрел на каминную полку за спиной Августы, потому что всегда смотрел мимо собеседника, когда ему требовалось что-нибудь достать из воздуха.

На полке стояли книги. Восемь или девять, из тех, что ставят не для чтения. Второй слева корешок был темный, потертый, с тисненой золотом надписью в две строки, и верхняя строка читалась прекрасно даже при половине свечей.

АВРЕЛИЙ.

— Вы, должно быть, помните моего дядю, — вдруг сказал Эдмунд.

Тишина за столом переменилась.

До этого она была неловкая. Теперь она стала внимательная, и Эдмунд, у которого на такие вещи был абсолютный слух, услышал, как четыре человека одновременно перестали есть.

— Вашего дядю, — повторил Артур.

— Аврелия Блэкмора. — Эдмунд произнес это имя в первый раз в жизни и произнес его так, как произносят имена, которые произносили тысячу раз и без всякого удовольствия. — Старшего брата матери.

— Аврелий, — сказала Августа. — Да. Аврелий.

Она сказала это с такой немедленной, сияющей уверенностью, что Эдмунду сделалось слегка нехорошо.

Он и раньше знал, что старая память податлива, что она хватается за любое предложенное имя, как утопающий за любую доску, не спрашивая, чья доска. Он этим пользовался и прежде. Но одно дело пользоваться этим с чужими людьми в чужом городе, а другое — смотреть, как сестра покойного при трех свидетелях усыновляет твою выдумку за полторы секунды.

— Аврелий Блэкмор, — сказала она. — Ну конечно. Он привозил гуся.

— Гуся? — сказал Виктор.

— Мороженого гуся, — твердо сказала Августа. — На святки. Один раз.

— Он привозил все что угодно, — сказал Эдмунд. — Обычно не свое.

Виктор заржал.

Это была правильная реплика — Эдмунд выбрал ее потому, что шутка про вора-родственника снимает напряжение и никем не проверяется, — но она немедленно вышла ему боком, потому что Клара спросила:

— А чем он занимался?

— Он был десятником на отводных работах, — сказал Эдмунд.

Он услышал собственный голос со стороны и одобрил: сказано было скучно, без охоты, как говорят о родне, которой стыдятся.

— На каких? — спросил Артур.

— На разных.

— На каких, господин Блэкмор?

Артур не повысил голоса. Он даже не отложил вилку. Но за столом опять что-то сместилось, и Эдмунд с внезапной отчетливостью ощутил, что стоит не на полу, а на льду, и что лед этот тут почему-то тоньше, чем в остальных местах.

— На водоотводных, — сказал он. — Каналы, ливневка. Он не инженер, он десятник, он кричал на людей за жалованье.

— Где?

— Где брали.

— Он работал на предприятиях Вентмора? — спросила Клара.

— Не знаю, — сказал Эдмунд. — Мне было восемь лет, когда он умер. Я знаю про него ровно три вещи: что он пил, что он умер, и что мать про него не говорила.

Он сделал паузу и добавил, глядя в тарелку:

— Мать вообще мало про кого говорила.

Это был хороший ход, и он сработал: Августа немедленно всхлипнула, Виктор произнес «ну-ну», Клара опустила глаза.

Артур не сделал ничего.

Он смотрел на Эдмунда через стол — ровно, спокойно, обеими руками на скатерти, — и Эдмунд, выдержав этот взгляд, испытал незнакомое и очень неприятное чувство.

Он привык, что его проверяют. Его проверяли сотни раз. Проверка — это когда человек ищет в твоей истории дыру.

Артур Вентмор дыру не искал.

Артур Вентмор слушал так, как слушают человека, который случайно, по глупости, проносит вслух вещи, за которые в приличном обществе бьют.

Дальше стало хуже, потому что дальше в дело вступило гостеприимство.

Дядя Аврелий, единожды введенный в столовую, немедленно потребовал биографии, и биографию у Эдмунда стали вытягивать по частям, вежливо, из чистого желания поддержать разговор.

За сорок минут он выдал следующее, и каждая деталь спасала предыдущую и закапывала следующую.

Что Аврелий был старше Элеоноры на девять лет — потому что Августа вспомнила его «уже совсем немолодым», а Элеоноре по легенде полагалось быть молодой.

Что Аврелий писал письма — потому что Клара спросила, не осталось ли чего-нибудь от него на бумаге, и «нет, ничего» прозвучало бы подозрительно ровно. Теперь письма существовали, и их следовало куда-нибудь деть.

— А где они? — спросил Виктор через стол. — Письма-то. Показали бы.

— Сгорели, — сказал Эдмунд.

— Все?! — Виктор отложил вилку, чего не делал весь вечер. — Вот беда. Всегда так: что нужно, то и горит.

— Горело не все, — сказал Эдмунд. — Горел сундук.

«Сгорело все» звучит как отговорка. «Сгорел сундук» звучит как несчастье.

— Сундук, — повторил Виктор с некоторым разочарованием, потому что пожар без дома казался ему пожаром не в полную силу.

Клара не сказала ничего, и это было хуже всего.

— Где, — сказала Августа.

Она сказала это не вопросительно, а так, как говорят люди, привыкшие, чтобы им отвечали.

Что сундук горел в чужом доме, у квартирной хозяйки, после смерти матери, — потому что иначе выходило, что горел он у Натаниэля, а Натаниэль обязан был бы спасти хоть что-нибудь.

— Как ее звали? — спросила Августа.

Эдмунд посмотрел на скатерть, на солонку, на подсвечник.

— Да какая разница, тетушка, — сказал Виктор. — Хозяйка и хозяйка. Вы лучше спросите, отчего она сундук не уберегла. Я бы с нее спросил.

— Как ее звали, — повторила Августа, не повернув головы.

— Госпожа Лоуэлл, — сказал Эдмунд.

— И она жива? — спросила Клара.

— Не знаю, — сказал Эдмунд. — Я не возвращался.

К десерту дядя Аврелий Блэкмор был человеком со скверным характером, слабой печенью, девятью годами старшинства, неопределенной должностью на неопределенных работах, пачкой сгоревших писем, квартирной хозяйкой по фамилии Лоуэлл и одним мороженым гусем, привезенным на святки в год, который Августа определяла как «тот, когда была оттепель».

Эдмунд подавал все это, как подают блюда: по одному, не спеша, с промежутками.

И все время думал об одном.

Утром у него была мать. К вечеру появился дядя. Он справедливо опасался, что к концу недели семья потребует отдельный флигель.

Кофе подали в гостиную, и вот там Артур закончил вечер.

Он дождался, пока Августу уведут, — ее уводили долго, с пледом, с лорнетом и с настойчивым требованием, чтобы гуся непременно записали, — поставил чашку и сказал:

— Господин Блэкмор.

— Да?

— Завтра мы напишем в Грейвелл.

Эдмунд наклонил голову.

— Разумеется.

— Я хочу, чтобы вы понимали, что именно мы напишем. — Артур говорил ровно, без нажима, как читают опись. — Запрос в приход святого Агаллия: выписка о крещении Элеоноры Блэкмор, выписка о вашем крещении, запись о смерти Аврелия Блэкмора, сведения о семье Блэкмор за двадцать пять лет. Копию — в контору в Хейлфорде. Вы не возражаете?

— Отчего же мне возражать.

— Многие возражают, — сказал Артур.

Эдмунд позволил себе одну секунду достоинства.

— Я приехал не за тем, чтобы возражать против писем, — сказал он. — Пишите, куда считаете нужным.

Внутри он был совершенно счастлив.

Он был счастлив, потому что арифметика работала: письмо, три дня туда, усталый священник с больной спиной, угол стола, отписка, архив, еще одна отписка.

Ему нужно шесть дней. У него их девять, а если повезет — двенадцать.

— Хорошо, — сказал Артур. — Бримли отнесет утром.

И тут Клара, которая все это время стояла у окна и смотрела в черное стекло, сказала:

— А почему бы не телеграфировать?

Эдмунд не пошевелился.

Это стоило ему гораздо больше, чем он мог бы объяснить кому-нибудь, кто не занимался его ремеслом. Он не повернул головы, не поставил чашку, не сделал глотка, чтобы выиграть время, — он просто продолжил сидеть, потому что в такие секунды любое движение и есть ответ.

— В Грейвелл? — сказал Артур.

— В Хейлфорд. — Клара повернулась от окна. — Там станция. До Грейвелла семь миль.

Она произнесла это совершенно буднично, как человек, который просто хочет, чтобы дело двигалось быстрее и обошлось дешевле.

Артур смотрел на нее секунды три.

— Хорошо, — сказал он. — Телеграфируй утром.

— Утром, — согласилась Клара.

Эдмунд допил кофе.

Кофе был горячий, и он выпил его весь, залпом, и это было единственное за вечер, что он сделал по-настоящему необдуманно.

Девять дней, которые он честно выторговал у географии, только что отняли у него медной проволокой, и отняли за одиннадцать секунд. Оставалось вот что: телеграмма дойдет до Хейлфорда за час; человек из конторы доедет до Грейвелла за день; священник с больной спиной никуда не денется, книг у него по-прежнему нет, — но теперь между вопросом и ответом стояла не почта, а живые люди, которым можно заплатить за скорость.

Шесть дней у него, пожалуй, еще оставалось.

Двенадцати не было.

— Доброй ночи, — сказал Артур и вышел.

Виктор, который весь последний час молчал и о чем-то напряженно думал — что было для него занятием непривычным и потому заметным, — поднялся следом, у двери оглянулся на Эдмунда и очень выразительно ему кивнул.

Эдмунд остался в гостиной с Кларой и погасшим камином.

Она собрала со столика три чашки, поставила их ровно, придвинула четвертую и наконец посмотрела на него.

— Вы поранили палец, — сказала она.

Эдмунд опустил глаза.

На подушечке большого пальца левой руки была тонкая царапина, свежая, с запекшейся капелькой: булавка соскочила из шлица, когда он давал еще восьмушку оборота. Он не почувствовал этого и не заметил до сих пор.

— Пустяки, — сказал он.

— Да, — сказала Клара Вентмор. — Пустяки.

Она взяла со столика лампу, и по дороге к двери, проходя мимо него, сказала — негромко, ровно, без тени улыбки:

— У вас очень хорошие руки, господин Блэкмор.

Глава 8: Первая цена

Кабинет Артура Вентмора помещался на втором этаже старого корпуса и был единственной комнатой в доме, которая ничего не изображала.

Ни портретов, ни ковров, ни бронзы. Стол, два стула, шкаф с папками, вторая дверь в углу — в конторскую. На стене висела карта Большого Колдрена, утыканная булавками с цветными головками, и висела не для красоты: булавки стояли неровно, часть была вынута, и в дереве под ней остались дырки.

Эдмунд вошел в одиннадцать и сел, куда указали.

— Я буду говорить с вами прямо, — сказал Артур.

— Буду признателен.

— Не будете. — Артур раскрыл лежавшую перед ним папку, посмотрел в нее и закрыл. — Я не верю, что вы сын моего отца.

Эдмунд выдержал паузу ровно в ту длину, в какую полагается. Слишком быстрый ответ — признание. Слишком медленный — тоже.

— Это ваше право.

— Права тут ни при чем. — Артур сложил руки на папке. — Разберем. Ваша мать, по вашим словам, была связана с моим отцом двадцать шесть лет назад. Двадцать шесть лет назад мой отец безвыездно жил в Колдрене, так что тут все возможно. Она не обращалась к нему ни разу. Никто в семье о ней не слышал. Бумаг нет. Свидетелей нет. Все, что у вас есть, — это фамилия, приход, в котором сгорели книги, и дядя, которого вчера вечером опознала моя семидесятилетняя тетка по манере держать вилку.

— Они не сгорели, они подтоплены.

— Что?

— Книги. Вы сказали «сгорели». Они подтоплены. Сгоревшее не восстанавливают, а подтопленное восстанавливают наполовину и потом теряют при переезде.

Артур посмотрел на него.

— Вы хорошо осведомлены о приходских архивах.

— Я двадцать пять лет живу с фамилией, которую невозможно подтвердить. Поневоле узнаешь, как устроены архивы.

И это, кстати, было чистой правдой, если под «фамилией» понимать ремесло.

Артур помолчал.

— Хорошо. Тогда о деле.

Он открыл папку снова и вынул лист.

— Вы приехали за деньгами. Я не ставлю вам этого в вину и не намерен читать вам нравоучений: вы бедны, вы увидели возможность, вы ею воспользовались. На вашем месте так поступил бы всякий второй. — Он повернул лист к Эдмунду. — Вот что я готов сделать.

Эдмунд взял лист.

Там было четыре пункта, написанных ясным конторским почерком.

Первое: триста крон в год, выплачиваемых поквартально.

Второе: выплата производится через контору «Гарви и сын» в Хейлфорде, лично, под расписку.

Третье: получатель обязуется не появляться в Вентмор-Грейндже и не вступать в сношения с членами семьи.

Четвертое: при нарушении выплаты прекращаются.

Эдмунд прочел это дважды.

Потом положил лист на стол и некоторое время смотрел на карту Большого Колдрена, на кривой ряд булавок и на дырки от вынутых.

Ему хотелось смеяться, и он был этому очень рад, потому что смех — хорошее чувство: оно означает, что голова работает.

Триста крон в год. Не двадцать тысяч, не пять тысяч, не тысяча. Триста. Жалование приказчика в средней лавке.

Но дело было, конечно, не в сумме.

Дело было во втором пункте.

— Вы предлагаете мне адрес, — сказал Эдмунд.

Артур поднял бровь на четверть дюйма. Это было первое, что Эдмунд у него выиграл, и он это заметил.

— Продолжайте.

— Лично, под расписку, четыре раза в год, в конторе в Хейлфорде. — Эдмунд подвинул лист обратно кончиками пальцев. — Это не содержание, господин Вентмор. Это учет. Через год у «Гарви и сына» будет четыре моих росписи, мое описание и четыре даты, когда я наверняка буду в определенной комнате в определенный час. Через два года я перестану быть человеком и стану позицией в ведомости. А позицию в ведомости при некоторой надобности очень легко закрыть.

— Я не намерен вас закрывать.

— Я полагаю, что вы намерены знать, где я. Это разумно. Я бы тоже хотел знать, где я. Но я предпочитаю знать это один.

Артур откинулся на спинку стула.

Это было первое движение, в котором Эдмунд увидел живого человека, а не управляющего: Артур откинулся, повернул на мизинце кольцо и посмотрел в окно.

— Сколько вы хотите?

Вот тут и произошло то, за что Эдмунд Фарроу впоследствии, в вагонах и дешевых гостиницах трех разных губерний, называл себя словами, которые не следует записывать.

У него было полторы секунды.

И в эти полторы секунды у него имелось два варианта.

Он мог сказать: пять тысяч. Пять тысяч Артур заплатил бы немедленно, в тот же день, из конторской кассы, не моргнув, просто чтобы неприятность вышла за ворота до приезда людей от Варренхольмов. Пять тысяч — это четверть года хорошего специалиста, это спокойная зима, это новые бумаги, это выход.

Или он мог не называть цифры вовсе — и ждать.

Потому что цифру всегда должен называть тот, кто больше боится. А Артур Вентмор боялся. Эдмунд видел это своими глазами, во дворе, у гроба, при слове «Грейвелл»; видел вчера за столом, при слове «насосы»; видел сегодня, когда речь зашла о приходских книгах. Что-то в этом доме стоило гораздо дороже трехсот крон в год, и человек, который предлагает триста крон, делает это не от скупости, а от надежды, что дешево обойдется.

Эдмунд Фарроу посмотрел на карту Большого Колдрена и решил, что дешево не обойдется.

— Я не назову цифры, — сказал он.

— Отчего?

— Оттого, что я не знаю, сколько стоит то, что вы покупаете. — Эдмунд встал. — А вы знаете. Подумайте и назовите сами. Если сумма будет разумной, я уеду в тот же день и вы обо мне больше не услышите.

Он сказал это очень хорошо. Он сам это чувствовал — та самая сухая, без нажима, почти скукающая интонация, которой он добивался годами и которая действует на богатых людей сильнее любой угрозы, потому что богатые люди привыкли к угрозам и совершенно отвыкли от спокойствия.

Артур смотрел на него снизу вверх.

— Садитесь.

— Я, пожалуй...

— Сядьте, господин Блэкмор.

Эдмунд сел.

— Я расскажу вам, что происходит. Не из жалости. Мне так дешевле.

Он снова открыл папку.

— Вчера вечером вы согласились на запрос в Грейвелл. Сегодня утром моя сестра телеграфировала в Хейлфорд. Это заняло, — он взглянул на лист, — двенадцать минут. Ответ о том, что запрос принят, пришел в девять сорок.

— Я не возражал.

— Вы не дослушали. — Артур перевернул лист. — Дело в том, что телеграфные расходы этого дома оплачивает не этот дом.

Пауза.

— Простите?

— Мой отец, — сказал Артур Вентмор, — оставил после себя обязательств на четыре миллиона восемьсот тысяч крон. Основной кредитор — дом Варренхольмов. Все, что касается имени Вентмор, с прошлой среды касается и их, включая телеграфные ведомости, включая расходы на похороны, включая, если угодно, стоимость медной урны, которая стоит внизу у зеркала и, по всей видимости, простоят там до вторника.

Он произнес сумму совершенно так же, как произнес бы «двенадцать минут».

Эдмунд ощутил, как у него холодеют кончики пальцев.

Четыре миллиона восемьсот. Он приехал в дом, где считал по мелочи — гроб, ливреи, серебро, — и на секунду вообразил себя человеком, который умеет считать. Настоящие цифры этого дома были такими, что рядом с ними его сто тысяч выглядели как чаевые.

Это должно было бы его напугать.

Вместо этого — и он отлично это за собой знал, и ничего не мог поделать, — это его обрадовало.

«Здесь есть из чего взять», — подумал он.

Это была самая дорогая мысль в его жизни.

— Поверенные Варренхольмов прочли ведомость сегодня к десяти, — продолжал Артур. — В ней стоит телеграмма в Хейлфорд с запросом о приходских книгах. Они не идиоты. Они спросили. Им ответили, что в доме находится человек, заявляющий о родстве.

— И что же они?

— Они прислали телеграмму. — Артур вынул из папки узкую полоску бумаги и прочел ее вслух, не отдавая: — «Проверку берем на себя. Точка. Выезжает Оуд. Точка. Просим не предпринимать шагов до заключения. Точка».

Он положил полоску на стол.

— Вот и все, господин Блэкмор. С сегодняшнего утра ваше дело больше не мое.

— Кто такой Оуд?

— Персиваль Оуд. Младший клерк конторы «Мэнвилл и Дрейк», которая ведет дела Варренхольмов. Ему двадцать шесть лет.

— И что он?

Артур помолчал — коротко, и Эдмунд, уже научившийся немного его читать, понял, что сейчас будет не угроза, а нечто гораздо хуже: сведения.

— В прошлом году Варренхольмы потеряли опись имущества по одному спорному наследству в Дьюпорте. Опись считалась утраченной с восьмьдесят девятого года; четыре человека до него доложили, что документа не существует. Оуд нашел его за одиннадцать дней. Он объехал шесть приходов, два архива и одну частную библиотеку. В отчете он указал стоимость каждого переезда с точностью до кроны и принес сдачу.

— Способный молодой человек.

— Способных до него было четверо. Оуд не пьет, не играет, не берет и, насколько я могу судить по трем встречам, не устает. Ему нравится доводить до конца. Лекарства нет.

Эдмунд сидел очень ровно.

Он заново, быстро, перекладывал свою арифметику — и она не складывалась ни одним из способов, которые он знал.

Весь его расчет стоял на лени. Не на глупости — на лени. Он положил в основу этой аферы самое надежное вещество в мире, единственное, которое никогда его не подводило: человеческую неохоту делать лишнее. Усталый священник. Заваленный архивариус. Клерк, который не поедет в дождь. Контора, которая ответит отпиской, потому что отписка дешевле поездки.

И вот из Велмонта выезжал двадцатилетний человек, которому нравится доводить до конца.

— Когда он будет? — спросил Эдмунд.

— Выезжает вечером. В Хейлфорде будет в среду. В Грейвелле — в пятницу, если дорога позволит.

Он закрыл папку.

— Теперь о том, зачем я вам это рассказал.

Артур встал, обошел стол и остановился у карты Большого Колдрена, спиной к Эдмунду, глядя на булавки.

— Если вы уедете сегодня, я не стану вас искать. Я скажу поверенным, что человек оказался несерьезен и исчез, и это будет чистая правда, и на этом все кончится, потому что Варренхольмам вы не интересны сами по себе. Я даже оплачу вам дорогу. Мне это обойдется дешевле, чем заключение Оуда, что бы в нем ни было написано.

Он повернулся.

— Но если вы останетесь до послезавтра, то решать буду уже не я.

Он сказал это без всякого выражения, и именно поэтому Эдмунд впервые за три дня почувствовал настоящий, ровный, взрослый страх.

— Подумайте до вечера, — сказал Артур Вентмор. — Бримли подаст экипаж к любому поезду.

В галерее второго этажа висели четырнадцать Вентморов и пятнадцатый гвоздь. Он остановился перед светлым прямоугольником на обоях и постоял, потому что ему нужно было где-нибудь постоять.

Итак.

Уехать сегодня. Ничего, кроме оплаченной дороги. Три дня работы, испорченный «Королевский вереск» и полное отсутствие результата. Вернуться в Соляной ряд, в комнату с наклонным потолком, к жестяному коробу, и полгода собирать что-нибудь новое.

Или остаться.

У него было еще два дня до Хейлфорда и, возможно, дня три до заключения — итого пять. За пять дней в доме, где хозяин боится слова «насосы», а кредитор считает телеграммы, можно сделать очень многое.

И главное — Артур Вентмор только что совершил ошибку.

Он предложил оплатить дорогу.

Человек, который хочет, чтобы вы уехали, говорит: «Убирайтесь». Человек, который платит за то, чтобы вы уехали, уже назвал цену; он просто назвал очень маленькую и надеется, что вы не заметите.

А это означало, что торг открыт.

Эдмунд постоял перед пустым гвоздем еще немного.

Потом спустился вниз, в холл, где у зеркала зеленела медная урна, взял с подноса карточку и написал на обороте четыре слова: «Благодарю. Я останусь. Н. Блэкмор».

Он отдал карточку Бримли и пошел обедать, чрезвычайно довольный собой.

Это была, пожалуй, самая дорогая записка, когда-либо написанная в Веллга

Глава 9: Людская

В девять вечера Эдмунд спустился вниз якобы за тем, чтобы отдать почистить сапоги.

Сапоги были действительно грязные, и это, собственно, и решило дело. Он держался правила, которое стоило ему трех лет учебы и одного выбитого зуба: если хочешь оказаться там, где тебе не место, приходи не с предложением, а с делом. Предлог придумывают. Дело приносят в руках.

Лестница для прислуги шла в трех шагах от его двери, узкая, некрашенная, с веревочными перилами, и пахла на ней сначала воском, потом углем, а на последнем марше — жареным луком.

Внизу было тепло, светло и шумно.

Людская Вентмор-Грейнджа помещалась под новым крылом и представляла собой длинную комнату со сводчатым потолком, длинным же столом и печью, возле которой сушились восемь пар чужих чулок. За столом сидело человек десять. Шел ужин, то есть тот поздний ужин прислуги, который случается, когда господа наверху уже отужинали, и который в любом доме мира вкуснее господского, потому что готовят его для себя.

Разговор оборвался ровно на одну секунду.

Эдмунд успел за эту секунду все: отметил, что во главе стола сидит Агата; что справа от нее дородная женщина в переднике, очевидно кухарка; что дальше две горничные, лакей, мальчишка из телеграфной, конюх, еще кто-то; что Бримли за столом нет — Бримли ест отдельно, как все хорошие дворецкие, и это прекрасно.

Он поднял сапоги.

— Прошу прощения. Я не знаю, кому это отдают, и не знаю, отдают ли вообще. Если это неправильно, скажите — я их и сам почищу, я умею.

Он сказал это без улыбки, спокойно, и с одной точно отмеренной ноткой — не унижения, а неловкости человека, который в жизни не имел прислуги и стесняется этого больше, чем бедности.

За столом кто-то хмыкнул. Лакей приподнялся.

— Сэм почистит, — сказала кухарка. — Сэм, возьми у господина. Садитесь, сэр, чего стоять.

— Мне бы не мешать.

— Вы уже мешаете, — сказала Агата, не поднимая глаз от тарелки. — Садитесь, будете мешать сидя.

Эдмунд сел на край скамьи, и это была первая победа за весь день.

Он не задал ни одного вопроса в первые двадцать минут.

Это было главное, и это было труднее всего. Всякий любитель, оказавшись за таким столом, немедленно начинает спрашивать — про хозяев, про дом, про покойника, — и через четверть часа его вежливо перестают замечать, потому что прислуга узнает расспрашивающего мгновенно, как собака узнает человека, который боится собак.

Эдмунд ел картошку и слушал.

Он узнал, что миссис Прю, кухарка, на поминках извела семь фунтов масла и до сих пор из-за этого страдает. Что Дженни, старшая горничная, второй месяц ходит с перевязанным пальцем и считает, что виновата лестница. Что конюха зовут Хеммет, что он глухой на одно ухо и что по этому поводу за столом существует целый свод отработанных шуток. Что мальчишку из телеграфной зовут Уилл Тэтч, что ему девятнадцать, что он в доме второй год и что его все зовут «депеша».

Он узнал, что покойного хозяина не любили — не по словам, разумеется, а по паузам. Про Сайласа Вентмора за этим столом говорили ровно, коротко и без единого «царствие небесное», и когда кухарка сказала «при хозяине такого не бывало», никто не подхватил.

Он узнал, что мисс Клару любят и боятся примерно поровну.

И он узнал, что господина Виктора презирают совершенно открыто, что в хорошем доме означает крайнюю степень падения.

На двадцать третьей минуте он подал голос, и подал его правильно — пожаловавшись.

— Скажите, — сказал он в пространство, — а у вас тут всегда так тихо ночью?

— Тихо? — спросила Дженни.

— Ну, у меня комната наверху, в старом корпусе. — Эдмунд пожал плечами. — Лежу и слышу, как внизу труба гудит. Я все думал — печь, а оно не печь.

— Это насосная, — сказал конюх Хеммет громко, как говорят глуховатые. — Это вам насосная.

— В доме насосная?

— Не в доме. — Хеммет махнул вилкой куда-то вбок. — За каретным двором. Туда труба от старой скважины, оттуда на верхние баки. При хозяине провели, когда воду ставили. Гудит, если ветер с запада.

— Она полдома греет, — вставила миссис Прю. — И полдома студит.

— И туда же от прачечной ход, — сказала Дженни. — Через нижний коридор. Там хорошо зимой ходить, тепло, только темно.

— Через нижний коридор, — повторил Эдмунд задумчиво, как повторяют слова, которые ничего для тебя не значат. — Это который?

— От прачечной под новым крылом и до старого, — сказала Дженни. — Мы там ходим, чтоб через двор не бегать. Он под всем домом. Он старше дома, говорят.

— Он старше дома, — сказала миссис Прю с гордостью, как будто нижний коридор был ее личным достижением.

Эдмунд положил в рот картошку и подумал, что за одиннадцать лет ремесла не получал подарка приятнее.

Под домом, где все опечатано, есть теплый темный ход, соединяющий старое крыло с новым и известный исключительно тем, кто носит воду.

Потом заговорили про урну.

Это было неизбежно: урна стояла у зеркала третьи сутки, и весь дом от кухни до чердака имел по этому поводу мнение.

— Во вторник, — сказала миссис Прю. — Сказано во вторник. Так вот я говорю: а ежели во вторник опять ветер?

— А ежели опять ветер, — сказал Хеммет, — то в среду.

— А в среду опять ветер.

— А в среду опять в четверг.

— Так он у нас до Рождества простоят! — сказала миссис Прю с возмущением, за которым явственно слышалось удовольствие. — У зеркала! Я мимо хожу и всякий раз здороваюсь.

— И правильно, — сказала Дженни. — Он же хозяин.

— Он-то хозяин. А я-то не нанималась с банкой раскланиваться.

За столом засмеялись — коротко, вполголоса, тем осторожным смехом, который в доме траура означает, что покойного действительно никто не любил.

— Он и живой-то не улетел бы, — сказал вдруг Уилл Тэтч.

Все посмотрели на него.

Мальчишка немедленно покраснел до ушей.

— Я к тому, что... Я к тому, что ему бы не позволили. Там же разрешение надо, там с прошлого года все через Велмонт, через гавань эту. Я депеши вожу, я знаю. Там теперь на всякий полет бумага.

— Помолчи, депеша, — сказала Агата.

Тэтч замолчал.

Эдмунд посмотрел на него внимательнее — не потому, что мальчик сказал что-нибудь важное, а потому, что мальчик сказал это с обидой. Обида у прислуги на господ бывает разная. Обида на то, что тебя не слушают, когда ты единственный в доме знаешь, как что-то работает, — это не обида. Это трещина.

Он решил вернуться к этому позже и вернулся через четверо суток.

— А вы, сэр, — сказала вдруг Дженни, — надолго у нас?

Стол притих. Вопрос был непозволительный, и все это понимали, включая Дженни, которая уже открыла рот, чтобы извиниться.

— Я не знаю, — сказал Эдмунд просто.

Он положил вилку.

— Я не знаю. Я приехал на похороны. Я думал, что постою сзади, и все. Теперь мне сказали ждать, а чего ждать — не говорят, и я хожу по дому, где у всех есть дело, и у одного меня дела нет. — Он усмехнулся. — Сегодня я полчаса смотрел, как чистят фонари у крыльца. Просто чтобы смотреть, как кто-то что-то делает.

Это была ложь примерно наполовину, а значит, ложь хорошая.

За столом сделалось теплее на два градуса. Миссис Прю сказала «ах ты господи», Дженни посмотрела на него с тем непереносимым сочувствием, какое молодые женщины испытывают к молодым мужчинам без места, а Сэм пододвинул ему хлеб.

— Вам бы книжку, — сказала миссис Прю.

— Мне бы ключ.

Он сказал это легко, как говорят о пустяке.

— В комнате нет ключа. Я не жалею, я понимаю, что я гость. Просто я привык запи- раться. Я четыре года живу в наемных комнатах, у меня это уже вроде как...

Он не договорил и махнул рукой.

И вот тут в людской Вентмор-Грейнджа стало по-настоящему тихо.

Это была совсем не та тишина, что минуту назад. Дженни опустила глаза в тарелку. Сэм посмотрел на Агату. Миссис Прю принялась очень старательно резать хлеб.

— Ключи в буфетной, — сказала Агата ровно. — Все. На доске.

— А мой?

— И ваш.

— Может быть, тогда...

— Нет.

Она отложила нож, вытерла руки о салфетку и посмотрела на него через весь стол, и за столом немедленно возобновился разговор — торопливый, громкий, про масло и про лест- ницу, — потому что все десять человек одновременно решили, что это не их дело.

Она поймала его в коридоре у буфетной, когда он уже уходил, — вернее, не поймала, а просто оказалась там раньше него, что было куда неприятнее.

— Господин Блэкмор.

— Госпожа Агата.

— Просто Агата. — Она держала в руках лампу и не поднимала ее выше пояса, так что лицо у нее оставалось в тени, а освещены были только руки. — Вы хорошо сидели. Лучше, чем я думала.

— Благодарю.

— Это не похвала. — Она помолчала. — Дженни двадцать три года, и она дура. Через два дня она вам расскажет все, что знает, и еще половину того, чего не знает, и ей за это ничего не будет, потому что она действительно не знает ничего важного. Я вам это говорю, чтобы вы не тратили на нее время. Оно у вас, как я понимаю, недорогое, но и не бесконечное.

Эдмунд молчал. Спорить было не с чем.

— Про ключ.

— Я, кажется, спросил лишнее.

— Вы спросили правильно и не вовремя. — Она чуть приподняла лампу. — Ключ от этой комнаты сняли с доски одиннадцать лет назад и в нее больше не вставляли. Я не скажу вам почему. Я скажу вам другое: не думайте, что вас этим унизили. Вас туда положили не в наказание.

— А для чего?

— Чтобы вам было слышно, кто ходит. И чтобы вы понимали, что вас тоже слышно.

Она пошла было, потом остановилась.

— В этом доме есть три вещи, о которых не спрашивают. Одну вы уже нашли. Я бы на этом остановилась. Вы не остановитесь, по глазам видно.

— Агата.

— Да?

— Вы им не сказали. Ни про лак, ни про остальное. Почему?

Экономка Вентмор-Грейнджа подняла наконец лампу, и он увидел ее лицо целиком: тяжелое, немолодое, совершенно спокойное.

— Потому что мне сорок один год платят за порядок в этом доме, — сказала она. — А за правду, господин Блэкмор, тут не платили ни разу.

Она ушла, и коридор стал темным.

Эдмунд поднялся к себе, лег на кровать не раздеваясь и, глядя в балдахин, разложил добычу.

Нижний коридор из прачечной под всем домом, старше дома, теплый, темный, известный только прислуге.

Насосная за каретным двором, с трубой на верхние баки, гудит при западном ветре.

Ключи на доске в буфетной, все, включая тот, который одиннадцать лет не вставляли в скважину.

Мальчишка девятнадцати лет, который возит депеши, ведет журнал, знает про бумаги на полеты больше всех в доме и очень обижен, что его никто не слушает.

И кухарка, которая днем, разливая чай, сказала «с тех пор, как в Хейлфорде», и осеклась, и никто не переспросил, потому что все за столом и так знали, что было в Хейлфорде.

Эдмунд Фарроу подержал эту последнюю строчку в уме.

«Значит, там у них завод сгорел или что-нибудь такое, — решил он. — Или прогорело дело. Оттого и долги».

Он закрыл глаза и заснул совершенно довольный, потому что четыре из пяти пунктов были настоящей добычей.

Пятый он проспал.

Глава 10: Долг приезжает в самоходной карете

Самоходная карета Варренхольмов въехала в ворота в четверть двенадцатого и была слышна за минуту до того, как ее увидели.

К этому часу медную урну успели вынести на крыльцо и внести обратно в холл: аппарат отозвали на сертификационные испытания, и преподобный Дэнн уехал, не прочтя ни строки из службы, которую сам же и составил.

— Не пускают, — сказала Августа с крыльца, не опуская лорнета. — Второй раз не пускают. Он бы страшно рассердился.

Эдмунд слышал такие кареты в Велмонте, но близко видел впервые и не смог не подойти к окну галереи.

Она шла по подъездной дороге неторопливо, тяжело, с ровным низким шипением, оставляя за собой белый хвост, который таял в холодном воздухе. Корпус — темно-зеленый, лаковый, в шесть слоев, с тонкой золотой нитью по канту. Фонари медные. Сзади, там, где у порядочного экипажа полагается быть багажу, помещался котел в клепаном кожухе, и над ним, на облучке, сидел человек в кожаном фартуке и перчатках — не кучер, а механик, что было видно по тому, как он держал руки.

Карета остановилась у крыльца. Шипение перешло в тонкий свист и оборвалось.

Эдмунд оценил ее в шесть тысяч крон, немедленно понял, что ошибся вдвое, и поправил себя до двенадцати.

Потом он прикинул еще раз — уже не карету, а человека, который в ней ездит, — и сумма вышла такая, что считать дальше не имело смысла. Человек, который держит котел за двенадцать тысяч, чтобы проехать сорок пять миль до должника, не нуждается в деньгах должника. Ему нужно что-то другое. Эдмунд отметил это и с сожалением отложил: ему самому всегда нужны были именно деньги, и людей, которым нужно что-то другое, он понимал плохо и не любил.

Из кареты вышел человек в сером.

Адриан Варренхольм оказался не тем, чего Эдмунд ждал.

Дом Варренхольмов держал титул четвертое поколение, и за глаза в этом графстве говорили просто «лорд» — без фамилии, потому что других лордов в округе не водилось. Старый лорд Варренхольм, по словам Бримли, не выезжал из Велмонта одиннадцать лет и дела вел через сыновей. Приехал второй сын, у которого титула не было и не предвиделось, — и этого хватило, чтобы в доме с утра перестелили ковер в холле.

Он ждал крупного и громкого — так обычно выглядят люди, приезжающие за деньгами. Вместо этого из зеленой кареты вышел худощавый господин лет тридцати восьми, в безупречном сером пальто, с непокрытой головой, и первое, что он сделал, ступив на землю, — обернулся и сказал механику что-то короткое, от чего тот кивнул и сразу полез к котлу.

Он поднялся по ступеням, снял перчатки в холле, отдал их Бримли и остановился перед зеркалом.

Рядом с зеркалом зеленела урна.

Адриан Варренхольм посмотрел на нее секунды две.

Потом наклонил голову — коротко, серьезно, без тени насмешки, как кланяются знакомому, — и прошел дальше.

Эдмунд, наблюдавший это с площадки второго этажа, почувствовал, как у него по загривку прошел холодок.

Потому что это был лучший поклон, какой он видел в жизни. В нем было ровно все: почтение к покойному, полное осознание нелепости положения, отсутствие малейшей улыбки

и абсолютно недвусмысленное сообщение всем присутствующим, что господин Варренхольм заметил, как именно стоит в этом доме хозяин, и не намерен об этом говорить.

«Этот опасен», — подумал Эдмунд.

Это была, пожалуй, единственная за всю неделю мысль, в которой он не ошибся ни на крону.

Их представили в гостиной перед обедом — и, вопреки всему, что Эдмунд успел вообразить, представили нормально.

— Господин Блэкмор, — сказал Артур ровно. — Господин Варренхольм.

— Очень приятно, — сказал Адриан.

И протянул руку.

Эдмунд пожал ее. Рука была сухая и теплая, пожатие короткое, и Эдмунд, привыкший читать людей по рукопожатию, не прочел решительно ничего, что само по себе было сведением.

— Вы из Колдрена.

— Из Грейвелла.

— Грейвелл. — Адриан чуть наклонил голову. — Это ведь у нижнего отвода?

— Да.

— Там скверная вода, — сказал Адриан Варренхольм с искренним сочувствием. — Железо и еще что-то. Я пил ее один раз и помню до сих пор.

И перешел к Кларе.

Эдмунд остался стоять, где стоял, с совершенно ровным лицом и с ощущением, что его быстро и аккуратно обыскали, не прикасаясь.

Он не знал, скверная ли вода в Грейвелле. Он не знал, есть ли там нижний отвод. Он сказал «да» дважды, не имея ни малейшего понятия, на что соглашается, потому что альтернативой было переспросить, а переспросить значило признаться.

Адриан Варренхольм больше не посмотрел на него ни разу.

За обедом говорили о деньгах, и это было красиво.

Эдмунд слушал, как слушал бы музыку на чужом языке. Он не понимал половины и понимал все.

— Векселя по маю я предлагаю не трогать, — говорил Адриан, разрезая рыбу. — Их держат под четыре с половиной, а сейчас поднимать разговор — значит платить за разговор. Куда хуже с обеспечением по колдренскому контуру. Там у нас с вашим отцом была договоренность под три позиции, из которых две, простите, больше не позиции.

— Насосная станция в Лоу-Фенне, — сказал Артур.

— И она.

— Она работает.

— Она работает, — согласился Адриан, — и стоит на земле, которую город в марте включает в санитарный участок. После чего она будет работать уже не совсем на вас. — Он отпил вина. — Я не говорю, что это случится. Я говорю, что человек, который принимает это в залог сегодня, принимает в залог спор, а не станцию.

— Вы хотите заменить обеспечение.

— Я хочу, чтобы мы с вами не оказались в марте в положении, когда придется разговаривать при свидетелях.

Артур Вентмор положил вилку.

Эдмунд, сидевший на своем дальнем конце стола, увидел это и на секунду перестал жевать. За четыре дня он ни разу не видел, чтобы Артур что-нибудь клал.

— Сколько?

— Четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч. На вчера. С июньскими — четыре девятьсот шестьдесят.

Адриан произнес это точно так же, как получасом раньше сообщил про воду в Грейвелле.

— Артур, — сказал он мягко, — я не за этим приехал. Я приехал сказать, что мы никуда не торопимся до января. Все, кого это касается, до января заняты выборами, и я в том числе. После января я приеду опять, и мне будет очень жаль, если к тому времени в бумагах этого дома появится что-нибудь новое.

— Новое?

— Любое. — Адриан Варренхольм посмотрел в сторону дальнего конца стола ровно на такую долю секунды, чтобы это нельзя было назвать взглядом.

После обеда он полтора часа сидел с Артуром в кабинете, потом четверть часа говорил с Августой — и говорил, судя по доносившемуся, о каком-то давнем бале, потому что Августа два раза засмеялась, чего в этом доме не случалось с четверга.

Потом он вышел в галерею второго этажа, где Эдмунд, за неимением дела, в четвертый раз рассматривал портреты.

— Четырнадцать, — сказал Адриан Варренхольм, останавливаясь рядом.

— Простите?

— Четырнадцать портретов. — Он стоял, заложив руки за спину, и смотрел не на портреты, а на пустое место у окна. — И пятнадцать гвоздей. Я заметил это лет двенадцать назад и с тех пор всякий раз проверяю, не повесили ли.

— И как?

— Не повесили.

Он повернулся к Эдмунду.

Вблизи у него оказались очень светлые серые глаза и совершенно мальчишеская привычка чуть приподнимать брови, отчего лицо делалось доброжелательным до неприличия.

— Господин Блэкмор, вы в затруднительном положении.

— Я?

— Вы. — Адриан улыбнулся. — Я хочу, чтобы вы понимали: мне нет до этого никакого дела. Я приехал не из-за вас, я про вас узнал в понедельник и ко вторнику уже почти забыл. Но я человек наблюдательный и дам вам совет. Бесплатно.

— Слушаю.

— В этом доме вас держат. Вы это уже поняли, судя по тому, как вы ходите. Спросите себя, что с вами будет в тот день, когда держать вас станет не нужно.

Он поправил манжету.

— Обыкновенно в таких домах это происходит внезапно и очень вежливо.

— Вы меня предостерегаете?

— Ни в коем случае, — сказал Адриан Варренхольм с искренним удивлением. — Я вас оцениваю.

Он пошел к лестнице и на четвертой ступени, не оборачиваясь, сказал:

— Мы еще поговорим, господин Блэкмор. Не сегодня. Сегодня у меня нет в этом надобности.

Зеленая карета ушла в четыре, с тем же ровным шипением, и белый хвост долго висел над подъездной дорогой, потому что ветра по-прежнему не было.

Эдмунд спустился в холл в половине пятого, чтобы посмотреть в окно, как затихает пар над дорогой, и увидел Артура.

Артур Вентмор стоял в холле у зеркала, рядом с урной, и держал в руке сложенную вчетверо депешу из воздухоплавательного общества.

Потом он сел.

Он сел не в кресло, а на жесткий стул с прямой спинкой, который стоял у стены для лакея, — сел боком, не откинувшись, положив руки на колени, и просидел так, глядя в пол, секунд двадцать.

Эдмунд стоял в дверях галереи и не дышал.

За четыре дня он видел этого человека в самых разных положениях: у гроба, у нотариуса, за столом, в кабинете, перед газетчиками. Артур Вентмор ни разу не сел первым, ни разу не отвернулся, ни разу не сделал лишнего движения. Он был лучшим экземпляром своей породы, какой Эдмунду доводилось встречать, и Эдмунд, привыкший считать себя человеком, которого богатые люди боятся, все эти четыре дня тихо гордился тем, как этот держится.

Теперь Артур Вентмор сидел на лакейском стуле в собственном холле, и лицо у него было такое, какого Эдмунд не видел ни у кого из Вентморов, включая покойного на портретах.

«Он меня не боится, — подумал Эдмунд очень отчетливо. — Он никогда меня не боялся. Он боится того».

Эта мысль была правильная, и он даже успел ей обрадоваться — а потом, по своей всегдашней привычке, немедленно сделал из нее вывод, и вывод был такой, что человек, которого боится Артур Вентмор, только что уехал, а человек, который остался в доме и стоит сейчас в дверях галереи, может на этом заработать.

Артур поднял голову.

Их взгляды встретились через весь холл, и Эдмунд понял, что стоял тут слишком долго и что его видели по меньшей мере половину этого времени.

Он приготовился к чему угодно.

— Господин Блэкмор, — сказал Артур Вентмор, вставая и оправляя сюртук. — Зайдите ко мне в четверг, в одиннадцать.

— Разумеется.

— И захватите шляпу, — сказал Артур. — После разговора вы, скорее всего, уедете.

Глава 11: Двадцать тысяч

Шляпу он взял.

Он взял ее нарочно — держал в руках, войдя, и поставил на пол у ножки стула, аккуратно, тульей вниз, так, чтобы она была видна. Это ничего не стоило и говорило многое: я слышал, я готов, я не спорю. Люди, которые не спорят с первой минуты, получают на десять процентов больше.

Среду перед этим он провел так, как проводят среды в домах, где все ждут четверга: ходил, смотрел и слушал, как дом делает вид, что ничего не ждет.

Около трех к крыльцу подкатила конторская двуколка, и из нее вылез малый в котелке с плоским жестяным ящиком под мышкой. Ящик был невелик, с конторским замочком и печатью на ремне, и малый нес его не так, как носят пустое, и не так, как носят тяжелое, а так, как носят то, за что потом распишутся.

Эдмунд стоял у окна галереи и смотрел на локоть. Локоть говорит все. Пустой ящик несут, отставив локоть, потому что его не чувствуют. Ящик с серебром несут, прижав локоть к боку, потому что он тянет вниз. А ящик с банковскими пачками несут вот так — чуть отведя руку и чуть напрягая плечо, как носят вещь не тяжелую, но плотную, у которой весь вес собран в одном месте.

Сотенными, прикинул он. Пачки, судя по ширине ящика, в два ряда. Высота — пальца четыре. Выходило тысяч пятнадцать, а то и двадцать, если пачки тугие.

Он постоял у окна еще немного и почувствовал, как в нем медленно разворачивается то самое теплое, жадное, преждевременное чувство, которое он испытал во дворе, когда Артур повернул кольцо. Ящик привезли в дом, где у хозяина была одна-единственная неприятность, которую можно купить за наличные. И неприятностью этой был он.

Вечером он спросил у Дженни, что привозили из конторы. Дженни сказала, что бумаги. Эдмунд сказал, что так и подумал, и дал ей полкроны за то, что она ему ничего не сказала, — этого Дженни не поняла вовсе, но полкроны взяла.

Так что к четвергу он знал цифру почти наверняка. Он не знал только, что будет делать, когда ее услышит.

В кабинете горела лампа, хотя было одиннадцать утра. Карта Большого Колдрена висела на месте. Артур Вентмор стоял у стола, и перед ним на сукне лежал плоский жестяной ящик из тех, в каких конторы возят наличность.

— Садитесь.

Эдмунд сел.

Артур открыл ящик, вынул оттуда пачку и положил ее на сукно между ними.

Пачка была перехвачена крест-накрест бумажной лентой с печатью банка и лежала на зеленом сукне очень плотно, как лежит вещь, у которой есть вес.

— Двадцать тысяч крон, — сказал Артур Вентмор.

Эдмунд не пошевелился.

Это далось ему тяжелее, чем все, что он делал в этом доме за шесть дней. Он знал на ощупь, как выглядят деньги в таких количествах, — знал по чужим рукам, по конторским окошкам, по одному очень неприятному вечеру в Дьюпорте, — но никогда еще двадцать тысяч не лежали на расстоянии вытянутой руки и не были предназначены ему.

Двадцать тысяч крон. Годовое жалование хорошего специалиста, а то и больше. Комната не в Соляном ряду, а в приличной части. Новый короб. Год, в который не надо работать, а можно выбирать.

— Условия.

— Одно. Вы уедете сегодня.

— И все?

— И все. — Артур сел напротив. — Никаких бумаг. Никакой расписки. Ничего, что вы могли бы потом предъявить, и ничего, что я мог бы потом предъявить вам. Вы берете деньги, Бримли отвозит вас к вечернему поезду, и на этом наша с вами история заканчивается.

— Вы не боитесь, что я вернусь?

— Боюсь. Но вернувшегося человека можно выгнать. Приехавшего в первый раз — нельзя, это я уже проверил на себе в субботу.

Эдмунд смотрел на пачку.

— В понедельник вы предлагали мне триста крон в год.

— В понедельник у меня был месяц.

— А сегодня?

— Сегодня у меня четверг, — сказал Артур.

Он подвинул лампу на два дюйма, и на сукне стало светлее.

— Разберем по порядку. Персиваль Оуд вчера прибыл в Хейлфорд. Сегодня он затребовал в конторе лошадь на завтра. Завтра он будет в Грейвелле. В пятницу или в субботу он отправит первое донесение, а в понедельник, самое позднее во вторник, ляжет заключение.

— И что же?

— А то, что в понедельник вы будете в папке.

Эдмунд поднял глаза.

— Сейчас, — продолжал Артур, — в этом доме находится человек, называющий себя Натаниэлем Блэкмором, и никто в мире, кроме нас с вами, не знает о нем ничего определенного. Через четыре дня в конторе «Мэнвилл и Дрейк» будет лежать бумага, в которой черным по белому написано, кто вы такой, или что установить не удалось, — второе хуже. Ее подошьют. Через год кто-нибудь откроет папку, увидит, что в доме Вентморов проверяли самозванца, и задаст вопрос, которого сегодня никто не задает.

— Какой?

— Не «кто он». А «почему его проверяли одиннадцать дней».

Он положил обе ладони на стол.

— Двадцать тысяч — за то, чтобы к понедельнику вас не было ни в чьих бумагах, господин Блэкмор. Молчание ваше мне не нужно, вы ничего не знаете. С каждым днем это дороже.

Эдмунд протянул руку и взял пачку.

Он сделал это машинально — просто чтобы почувствовать, — и пожалел об этом мгновенно, потому что она оказалась тяжелее, чем он думал.

Люди, не державшие в руках больших денег, воображают, будто деньги легкие. Деньги тяжелые. Двадцать тысяч крон в сотенных билетах — это плотный брусок с острыми краями, который ложится в ладонь, как хороший инструмент, и пахнет типографской краской, клеем и чем-то еще, очень слабым, что Эдмунд опознал не сразу и опознал с изумлением: они пахли новыми, ненашенными, никогда не бывшими в карманах деньгами. Их привезли из банка специально.

Он держал их, наверное, секунд шесть.

За эти шесть секунд он с исключительной ясностью увидел всю свою оставшуюся жизнь, в которой он берет эти деньги, садится в вечерний поезд, приезжает в Велмонт, спит до полудня, покупает пальто и полгода не делает ничего, кроме как ест, читает и ходит смотреть, как строят Воздушную Гавань.

В этой жизни был первый класс до Дьюпорта и обратно — просто так, чтобы проехать; был омар, которого он однажды видел на чужой тарелке и с тех пор помнил; был номер с ванной, где ванну наливают без просьбы. Жизнь была прекрасная. Кончалась она, по его подсчетам, месяцев через семь, потому что деньги у Эдмунда никогда не задерживались, и на восьмой

месяц он опять сидел бы в Соляном ряду над жестяным коробом — только уже с воспоминанием об омаре.

А потом он подумал: триста крон в год — двадцать тысяч.

Три дня.

В шестьдесят шесть раз.

И вот тут Эдмунд Фарроу, человек, который считал все и всегда, сделал единственное, что умел делать по-настоящему хорошо: он посчитал.

Человек, у которого цена выросла в шестьдесят шесть раз за три дня, — это человек, у которого цена еще не остановилась. Это не кошелек. Это течение, и оно идет вверх. И спрашивать у такого человека «сколько», когда он сам предлагает, — все равно что продавать зерно в первый день недорода.

Кроме того — и это был решающий довод, и Эдмунд, к чести своей, впоследствии никогда не притворялся, что дело было не в нем, — двадцать тысяч были огромной суммой.

Но они не были ста тысячами.

А он приехал за ста.

Он положил пачку обратно на сукно, ровно на то место, где она лежала, и подвинул ее на полдюйма к Артуру — движением человека, отодвигающего чашку.

— Нет, — сказал он.

В кабинете сделалось очень тихо.

Артур смотрел на него, и впервые за шесть дней в этом взгляде появилось что-то новое.

Эдмунд опознал это не сразу и, опознав, испытал прилив совершенно неуместной гордости.

Это было любопытство.

— Отчего? — спросил Артур.

— Оттого что вы торопитесь.

— Разумеется, я тороплюсь. Я вам только что объяснил, отчего.

— Вы объяснили, отчего вы торопитесь к понедельнику. Это хорошее объяснение, и оно даже почти все покрывает. Почти.

Он позволил себе откинуться на спинку — впервые за весь разговор.

— В субботу я назвал во дворе слово «Грейвелл», и вы повернули кольцо. Вы сделали это один раз, и я не думаю, что вы заметили. В воскресенье за столом я сказал про насосы, и вы подняли голову. В понедельник вы сказали «сгорели» про приходские книги, хотя их подтопило, и это не оговорка, господин Вентмор, это привычка: вы думаете про огонь. — Он помолчал. — Персиваль Оуд выехал в понедельник. А вы испугались в субботу.

Артур не шевельнулся.

— И какой же вывод вы делаете?

— Никакого, — честно сказал Эдмунд. — Я не знаю, что у вас тут за семейная беда, и знать не хочу: чужие семейные беды — товар дурной, тяжелый и плохо хранится. Я делаю не вывод, а наблюдение: я стою рядом с чем-то, что для вас стоит гораздо дороже двадцати тысяч крон. Раз так, я постою еще.

Он взял с пола шляпу и положил ее на колени.

— Назовите настоящую цену, и я уеду в тот же час. Вы сами сказали: вам дорог каждый день. Мне тоже. Но я не возьму двадцать за то, что стоит сто, только потому, что мне страшно.

— А вам страшно?

— Очень, — сказал Эдмунд Фарроу.

И это была чистая, беспримесная правда, и он произнес ее с таким спокойным достоинством, что сам на секунду поверил, будто он действительно человек, который умеет говорить правду.

Он вел себя как человек, торгующий запечатанным ящиком: цену назначает по весу, а внутри может оказаться и золото, и щебень.

Пока что, впрочем, ящик покупали.

Артур Вентмор долго молчал.

Потом взял пачку, положил ее обратно в жестяной ящик и закрыл крышку. Замочек щелкнул — маленький, дрянной, конторский звук.

— Вы неглупы.

— Благодарю.

— Это не похвала, — сказал Артур, и Эдмунд с некоторым удивлением отметил, что за неделю ему второй раз говорят эту фразу, причем второй раз совершенно справедливо. — Вы сами себе продлеваете пребывание в доме, где вам не рады. Взяли бы деньги — спали бы сегодня в поезде.

Он поднялся.

— Скажу прямо, господин Блэкмор. Я сегодня предложил вам лучшее, что у меня было. Вы меня не переиграли. Просто на этой неделе я еще распоряжался собой. С понедельника — гораздо меньше.

— Вы про Варренхольмов.

— Я про все, — сказал Артур Вентмор.

Глава 12: Человек прямой

Виктор Вентмор узнал про деньги к утру.

Как именно — Эдмунд так и не выяснил, хотя перебрал всех: Бримли, который вносил лампы; мальчишка из конторы, который привез ящик; сам банк; вероятнее же всего — мальчишка из конторы, который привозил ящик и всю дорогу обратно ехал с пустыми руками.

Так или иначе, в пятницу после завтрака Виктор перехватил его на повороте лестницы, взял за рукав двумя пальцами у локтя и сказал с торжеством:

— Отказались!

— От чего?

— Ха! Ха. Ну, ну. Ну не надо со мной, я же вам сразу сказал: я человек прямой.

Он огляделся, хотя на лестнице никого не было, и потащил Эдмунда наверх, в бильярдную, где в этом доме, судя по всему, никто не играл лет двадцать: сукно было в пятнах, кии стояли криво, а на борту лежала стопка старых счетов, придавленных шаром.

Виктор закрыл дверь и прислонился к ней спиной.

— Сколько он давал?

— Не понимаю, о чем вы.

— Сколько. Он. Давал.

— Господин Вентмор...

— Двадцать?

Эдмунд не ответил, и Виктор немедленно расцвел.

— Двадцать, — сказал он с наслаждением. — Двадцать. Ну, ну. Ну я так и думал. А вы отказались. — Он ткнул в Эдмунда пальцем. — Вот за это я вас уважаю. Вот за это — уважаю. Потому что там не двадцать. Там, знаете, сколько?

— Сколько?

— Много! — сказал Виктор.

Эдмунд с трудом удержал лицо.

За одиннадцать лет он выслушал немало людей, полагавших себя знатоками чужих состояний, но «много» было вершиной жанра.

— Вы садьте. Вы садьте, я вам объясню, как тут все.

Объяснение заняло сорок минут и стоило того, чтобы его выслушать, — правда, совсем не по той причине, по которой Виктор его излагал.

Суть заключалась в следующем.

Виктор Вентмор приходился покойному Сайласу племянником, сыном младшего брата, и всю жизнь состоял при семье в качестве человека, которому поручают то, чего не жалко. Он вел какие-то поставки. Он ездил в Дьюпорт по каким-то делам. Он имел долю в чем-то, о чем говорил много и невнятно, и Эдмунд, послушав, определил эту долю как небольшую, обремененную и, вероятно, уже заложенную.

При жизни дядя его терпел. После смерти дяди выяснилось, что терпел его именно дядя, а Артур терпеть не намерен: в понедельник Артур предложил Виктору «упорядочить расчеты», что на языке этого дома означало посчитать все и отобрать то, что не сходится.

— Он меня выживает, — проворчал Виктор. — Вот так, знаете, вежливенько. Все вежливенько, все по бумажке. А бумажка у него.

И вот тут он наконец перешел к делу.

— Вы вот что. — Он придвинулся. — Вы про завещание слышали?

— Нет.

— И не услышите. Потому что его нет.

Он выдержал паузу, которую явно репетировал.

— То есть оно есть, — поправился он, — старое, восьмилетней давности, по нему все Артуру, а мне — ха! — часы. Часы, понимаете? Дядины часы. Но! — Он поднял палец. — Но дядя последний год все переделывал. Все переделывал, я знаю, мне говорили. Он весь прошлый месяц сидел в кабинете с бумагами и жег в камине. Жег, понимаете? Дженни золу выносила, она видела.

Эдмунд слушал очень внимательно.

Здесь, впервые за все утро, было что-то настоящее. Не суждение Виктора — суждения Виктора не стоили ничего, — а факт: покойный хозяин последний месяц жизни разбирал бумаги и жег их в камине собственного кабинета. Того самого кабинета, который в воскресенье опечатал нотариус Уэйборн, и который Артур Вентмор велел опечатать, и который, судя по лицу Артура Вентмора в ту минуту, печать не слишком успокоила.

Эдмунд сложил это и получил ответ, который казался ему совершенно очевидным.

«В кабинете лежит новое завещание, — подумал он. — Или то, что от него осталось. И Артур не знает, что там, и боится, что там не то».

Это была совершенно неверная мысль.

Она стояла ему одиннадцати суток и одного имени, и, что самое обидное, вывела его в конце концов в точности туда, куда надо, — но по дороге, на которой он ни разу не понял, куда идет.

— И вот что я вам скажу, — говорил тем временем Виктор. — Вам надо к нотариусу.

— К нотариусу?

— К Уэйборну. Вы ему скажете, что дядя при вас обещал. Ну, при матери вашей, все равно. Что обещал обеспечить. А я, — Виктор ударил себя в грудь, — я подтвержу.

Эдмунд помолчал.

— Вы подтвердите.

— Подтвержу. — Виктор кивал. — Скажу: слышал. Слышал, как дядя говорил, что есть, мол, обязательство. Я же с ним двадцать лет рядом, кто ж меня опровергнет?

— Все.

— Что?

Эдмунд встал и подошел к бильярдному столу.

Он вдруг почувствовал раздражение — настоящее, горячее, отдающее в затылок.

Он злился не на предательство. Он злился на работу.

— Господин Вентмор. — Он смотрел на пятно на сукне. — Позвольте, я объясню вам ваш план.

— Так он же...

— Я объясню. Я иду к нотариусу и заявляю об устном обещании. Нотариус спрашивает, кто слышал. Я называю вас, вы подтверждаете — и он задает вам ровно один вопрос: почему вы, зная об обязательстве покойного дяди, молчали о нем с самой среды, включая то воскресенье, когда подписывали у него опись. И ответа нет: либо вы лжете сейчас, либо вы скрывали тогда, а третьего не выдумано.

— Ну так я скажу, что вспомнил...

— Вы скажете, что вспомнили. И ваш двоюродный брат, который в понедельник предложил вам упорядочить расчеты, молча кладет эти расчеты на стол. К вечеру в доме будет не один самозванец, а два, причем у второго есть фамилия, доля и подпись под описью.

Виктор побагровел.

— Вы, — сказал он, — вы тут кто вообще такой, чтобы...

— Я тут никто. Именно поэтому я и стою дороже вас. Меня нельзя поймать на противоречии с самим собой, потому что у меня в этом доме нет прошлого. У вас оно есть, и оно все записано.

Он потом жалел об этой вспышке — но жалел умеренно, потому что она принесла неожиданные плоды.

Виктор Вентмор минуты полторы молчал, дышал и, судя по лицу, перебирал обиды.

А потом сказал совсем другим голосом — тихим, почти деловым:

— Чего ж вы тогда хотите?

И Эдмунд понял, что его послушали.

Это была ценная минута, и он ее не растратил.

— Я хочу того же, что и вы. Чтобы это дело подорожало. Только я не хочу за это сесть.

— Так оно ж дорожает.

— Оно дорожает не туда. Ваш брат платит за то, чтобы я уехал. Цена его покупки растет, и растет быстро. Но это цена моего отсутствия. Отсутствие можно купить один раз.

— А надо чего?

— Надо, чтобы у него появилась вторая причина торопиться. И желательно такая, которой он не может распорядиться.

Виктор задумался. Это было видно физически: он перестал двигать руками.

— Так вам свидетеля надо, — сказал он наконец.

— Простите?

— Свидетеля. — Виктор пожал плечами, и в его голосе впервые за все утро прозвучало нечто, отдаленно похожее на здравый смысл. — Вы один. Вы тут один, и вы сирота, и у вас никого, и все, что вы говорите, — с ваших же слов. Оттого вас и не боятся по-настоящему. А будь у вас хоть кто-нибудь живой — тетка какая, хоть двоюродная, хоть кто, — кто бумаги эти видел, кто мать вашу помнит, кто приехать может... — Он развел руками. — Тогда б другой разговор. Тогда б это уже не вы, а семья. Семью-то не выгонишь.

Эдмунд Фарроу стоял у бильярдного стола в пустой комнате с пятном на сукне и смотрел на Виктора Вентмора почти с нежностью.

— Живой родственницы у меня нет.

— Вот и беда.

— Да. Вот и беда.

Он положил обратно на борт шар, придавивший счета.

— А вы играете? — спросил Виктор, глядя на шар, который Эдмунд только что положил на борт, с внезапной надеждой человека, которому давно не с кем проиграть.

— Скверно, — сказал Эдмунд.

Это была правда ровно наполовину, и половину эту Виктор узнал к концу второй партии. Первую Эдмунд проиграл — честно, старательно и с досадой, которую не пришлось изображать, потому что стол был кривой, а сукно в пятнах. Вторую он выиграл на той самой кривизне, которую за первую успел выучить. Третью Виктор потребовал сам, на удвоение, и проиграл ее так чисто, что даже не рассердился.

Денег при Викторе не оказалось. Он написал расписку на тридцать крон «к оплате по вступлении в права», размашисто, с кляксой, и вручил ее с таким видом, будто жаловал поместье.

Эдмунд сложил расписку вчетверо и убрал в жилет. Денег она не стоила. Но человек, который должен тебе тридцать крон, сам ходит за тобой следом и сам рассказывает, где у него болит, — а это, по расценкам Эдмунда Фарроу, стоило куда дороже тридцати крон.

К обеду пришла депеша от Оуда.

Ее принес Уилл Тэтч — поднялся по лестнице, постучал в кабинет, отдал и ушел, и все это заняло минуты две, но дом успел заметить.

Эдмунд был в галерее и видел, как Тэтч спускается.

— Уилл.

Мальчишка остановился.

— Сэр?

— Скверные новости? — спросил Эдмунд тем ровным, чуть усталым тоном, каким спрашивают о погоде.

— Не могу знать, сэр. — Тэтч переступил с ноги на ногу. — Я не читаю. То есть я читаю, потому что принимаю, но я не...

— Разумеется. Извините.

Он отвернулся к окну и сосчитал про себя до четырех.

— Просто в Грейвелле у меня, знаете, никого не осталось. Церковь, кладбище. Я думал, туда никто и не ездит.

Он произнес это в стекло, ни к кому не обращаясь.

И Уилл Тэтч, девятнадцати лет, второй год в доме, обиженный на весь свет за то, что его никто не слушает, сказал ему в спину:

— Он уже в Грейвелле, сэр. Уехал из Хейлфорда затемно.

— А, — сказал Эдмунд. — Ну да.

— Он лошадь просил на семь утра. И спрашивал, есть ли при приходе сторож и где живет. Мальчишка вдруг испугался, покраснел и пошел вниз, очень быстро.

Эдмунд остался стоять у окна.

Итак, к этому часу Персиваль Оуд уже в Грейвелле. К вечеру он поймет, что приходских книг нет. И вот тут наступал самый опасный час всей аферы — потому что человек добросовестный, обнаружив, что книг нет, не пишет «сведений не имеется».

Человек добросовестный начинает искать сторожа.

А потом — соседей, старух, могильные плиты, метрику соседнего прихода, налоговую роспись и все остальное, что в приличном приходе с двумястами шестьюдесятью душами непременно найдется, и в конце концов доложит: семьи Блэкмор в Грейвелле не было. Не «сведений не имеется», а не было.

У Эдмунда оставались сутки, много — двое.

И примерно за эти сутки ему следовало добиться, чтобы известие «в Грейвелле ничего не нашли» прозвучало в этом доме не как приговор, а как подтверждение того, что в Грейвелле, разумеется, ничего и не могло найтись.

Он отошел от окна и пошел вниз, в буфетную, где на доске висели все ключи дома, и по дороге прикидывал, сколько в этом месяце получает мальчик при телеграфном аппарате.

Получалось крон двадцать.

Глава 13: Телеграмма из Грейвелла

Аппарат стучал неправильно, и Эдмунд услышал это из коридора.

Он и не собирался ничего слушать. Он шел в телеграфную с готовым разговором, с сорока кронами в жилетном кармане и с крайне неприятным чувством под ложечкой, потому что покупать человека — работа грязная, трудная и почти всегда неблагодарная: девять раз из десяти покупаешь не того, а на десятый тот, кого купил, потом всю жизнь считает, что ты ему должен.

Но за три шага до двери он остановился, потому что якорь бил вразнобой.

Эдмунд постоял, послушал, поморщился и вошел без стука.

— У вас пружина слаба, — сказал он.

Уилл Тэтч подскочил на стуле.

— Сэр!

— Слушайте. — Эдмунд подошел к столу и поднял палец. Аппарат под стеклянным колпаком отбил еще несколько знаков. — Слышите? На коротком чисто, а на длинном дребезжит. Он у вас не держит якорь, он его отпускает раньше времени и ловит обратно.

Мальчишка уставился на него.

— Он третий месяц, — сказал он наконец, шепотом. — Я говорил. Я мистеру Бримли говорил, а он сказал — «пиши разборчивее».

— При чем тут ваш почерк.

— Вот и я! — сказал Уилл Тэтч.

Он сказал это с такой силой, что сам испугался и оглянулся на дверь.

Эдмунд снял стеклянный колпак, аккуратно поставил его на подоконник и наклонился над аппаратом.

Это заняло у него минут шесть. Он не спешил: подкрутил контактный винт на четверть, отпустил, посмотрел, подтянул пружину, попробовал пальцем ход якоря, снова отпустил. Инструмента у него не было — он работал ногтем, булавкой и черенком чайной ложки, которая нашлась на подоконнике, — и оттого работал вдвое дольше и вчетверо аккуратнее.

Уилл Тэтч стоял рядом и не дышал.

— Вот. — Эдмунд отвел руки. — Попробуйте.

Мальчишка сел и отбил пробную строку.

Аппарат ответил ровно и сухо, с тем коротким чистым щелчком, который у механизмов означает то же, что у людей означает хорошее настроение.

Уилл Тэтч отбил еще раз. Потом еще. Потом посмотрел на Эдмунда так, как смотрят на человека, только что вылечившего собаку.

— Вы чего, механик?

— Я по стеклу, — сказал Эдмунд. — По линзам. Но там та же механика, только мельче.

Он сказал это совершенно машинально и понял, что сказал, только через полсекунды.

Он назвал вслух свое ремесло. В доме, где он был Натаниэлем Блэкмором, сыном швеи из Грейвелла, никогда нигде не работавшим и приехавшим искать место, — он назвал вслух свое настоящее ремесло, потому что руки уже сделали дело, и рот пошел за руками.

«Дурак», — подумал Эдмунд спокойно и без всякого волнения, как думают о чем-то уже случившемся.

Уилл Тэтч ничего не заметил.

Он был девятнадцати лет, второй год в доме, и ему только что впервые в жизни починили аппарат, вместо того чтобы велеть писать разборчивее.

Эдмунд сел на подоконник и минут двадцать говорил с ним о линиях.

Он ничего не выпрашивал. Он слушал — по-настоящему, с интересом, потому что ему действительно было интересно, — и Уилл Тэтч, дорвавшись, рассказал ему все устройство своей маленькой должности.

Что линия идет от дома до Хайгейтской станции в Велмонте и что оттуда ее могут дать куда угодно, но платит за все дом, и потому Бримли каждый месяц зверски проверяет ведомость.

Что журнал он ведет сам: слева номер по порядку, потом час подачи, потом станция подачи, потом текст, потом кому отдано и подпись получившего.

Что журнал сдают Бримли по вечерам, а Бримли раз в неделю переписывает из него расходы и отправляет в контору.

Что он, Уилл Тэтч, за два года ни разу не ошибся в номере, и что это, между прочим, не всякий может, потому что бывает, что приходят подряд, и тогда надо успевать.

— А если станция чужая? — спросил Эдмунд. — Ну, вот приходит из Хейлфорда. Вы откуда знаете, что из Хейлфорда?

— Так они ж передают. — Уилл пожал плечами. — Сначала станцию, потом номер, потом время подачи, потом уж текст. Я как слышу, так и пишу.

— То есть вы пишете то, что вам продиктовали.

— Ну да.

— И проверить это некому.

— А чего проверять? — искренне удивился Уилл Тэтч. — Кому ж это надо — врать в депеше?

Эдмунд Фарроу посмотрел на мальчика, у которого только что починили аппарат, и в первый и, пожалуй, единственный раз за всю эту историю почувствовал себя нехорошо заранее.

Обыкновенно ему делалось нехорошо потом.

— Уилл. Я хочу попросить вас об одной вещи, и я хочу, чтобы вы сперва дослушали до конца, а потом сказали «нет».

Мальчишка насторожился.

— Вы знаете, кто такой Оуд.

— Знаю. Из конторы.

— Он сегодня с утра в Грейвелле. — Эдмунд говорил ровно, глядя в окно, не на него. — В Грейвелле он ничего не найдет, потому что там нечего находить: приходские книги подтопило девятнадцать лет назад. Все, что уцелело, свезли в Хейлфорд, в архив, и там оно лежит по сей день в ящиках, и никто его не разбирает, потому что в Веллгарде никогда никто ничего не разбирает.

— Ну.

— Оуд вернется и напишет: сведений не обнаружено. — Эдмунд повернулся к нему. — И это будет чистая правда. Сведений там действительно нет. А в доме прочтут и поймут иначе. В доме прочтут: не было такой семьи.

Он помолчал.

— Уилл, у меня мать похоронена в Грейвелле, и на ее могиле стоит доска, потому что на камень у меня не было. Я двадцать пять лет живу с фамилией, которую невозможно подтвердить, потому что в ту осень прорвало отводной канал.

Все это была неправда, от первого слова до последнего, и все это Эдмунд произнес с той спокойной, суховатой, отвернувшейся интонацией, которая была его лучшим инструментом и которую он в тот вечер не пожалел.

— Я не прошу вас лгать.

— А чего просите?

— Я прошу вас записать то, что было бы правдой, — сказал Эдмунд Фарроу, — если бы в этой стране хоть кто-нибудь делал свою работу.

Он объяснил ему все дважды.

Завтра, в течение дня, на линию придет депеша из Хейлфорда — от письмоводителя тамошнего архива, некоего Х. Кеттла. Кеттл сообщит, что по запросу дома Вентморов им просмотрены ящики частичного восстановления грейвеллского прихода; что запись, касающаяся семьи Блэкмор, обнаружена; что заверенная выписка будет отправлена почтой.

— Так она ж не придет, — сказал Уилл. — Депеша-то.

— Нет. Не придет.

Мальчишка молчал долго.

— Мне ее написать, — сказал он наконец.

— Вам ее записать. Как вы записываете все остальное: номер, час, станцию, текст. Вы ничего не сочините: текст я вам дам. Вы сделаете ровно то, что делаете каждый день, — перенесете на бланк чужие слова. Вся разница в том, что завтра эти слова не пройдут по проволоке.

— А ежели спросят?

— Никто не спросит. — Эдмунд пожал плечами. — Проверить это можно только запросом на Хайгейтскую станцию, а запрос на Хайгейт стоит крону восемьдесят, и его делают, когда теряется платеж, а не когда приходит хорошая новость.

Он вынул из жилетного кармана деньги и положил на угол стола — не пододвигая.

Сорок крон.

Уилл Тэтч посмотрел на них.

Эдмунд с интересом и без всякого удовольствия наблюдал за тем, как в мальчике происходит то, что происходит в таких случаях со всеми: сначала испуг, потом обида — на себя, за то, что не отказался сразу, — потом быстрый жадный подсчет, потом поиск причины, по которой это, в сущности, ничего.

Причину Уилл нашел сам, и Эдмунд помогать ему не стал.

— Он же все равно придет и скажет, что ничего нет, — пробормотал мальчишка. — Этот ваш Оуд.

— Скажет.

— А так хоть будет видно, что не все. Что искали не там.

— Именно.

Мальчик взял деньги.

Эдмунд, спускаясь потом по лестнице, поймал себя на том, что ему хочется вернуться и забрать их обратно, и подивился этому, и списал на усталость.

Он ошибался. Это была не усталость. Это была единственная порядочная мысль, которая посетила его за всю неделю, и она опоздала на четыре минуты.

Депеша пришла в субботу, в половине четвертого.

Уилл Тэтч поднялся по лестнице, постучал в кабинет и подал бланк. Эдмунд в это время сидел в библиотеке с книгой, которую не читал, и слышал сквозь дверь, как мальчик спускается — ровно, не торопясь, как всегда.

Через восемь минут за ним прислали.

В кабинете были трое: Артур за столом, Клара у окна и нотариус Уэйборн, приехавший с утра и с тех пор не выпускавший из рук портфеля.

Бланк лежал на сукне.

— Прочтите, — сказал Артур.

Эдмунд взял бланк.

«ХЕЙЛФОРД АРХ 9-20 = ВЕНТМОР ГРЕЙНДЖ = ПО ЗАПРОСУ ВАШЕМУ ОТ 12 ТЕКУЩЕГО ПРОСМОТРЕНЫ ЯЩИКИ ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИХОДА ГРЕЙВЕЛЛ ТЧК ЗАПИСЬ КАСАЮЩАЯСЯ СЕМЕЙСТВА БЛЭКМОР ОБНАРУЖЕНА ТЧК СВЕРЕНО НА МЕСТЕ В ГРЕЙВЕЛЛЕ ТЧК ЗАВЕРЕННАЯ ВЫПИСКА БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА ПОЧТОЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИИ ТЧК КЕТТЛ ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ»

Эдмунд прочел это дважды — второй раз медленно, шевеля губами на слове «обнаружена», — и положил бланк обратно.

И сделал единственно верную вещь: ничего.

Он не обрадовался. Он не сказал «вот видите». Он не потребовал извинений. Он просто стоял и держал руки по швам, и на лице у него была та тяжелая, недоверчивая, еще не разрешившаяся от бремени надежда, которую нельзя сыграть, если не наблюдал ее вблизи у настоящих людей.

Эдмунд наблюдал. Дважды. Один раз — в конторе, где выдавали пособия, и один раз в тюремной приемной, и оба раза запомнил.

— Уэйборн, — сказал Артур. — Ваше мнение.

Нотариус взял бланк двумя пальцами.

— Мнение мое состоит в том, что депеша ничего не доказывает и ничего не опровергает. Она сообщает о намерении прислать документ. Документа нет. До получения выписки я обязан считать положение неизменным.

— Сколько идет выписка?

— Из Хейлфорда? — Уэйборн подумал. — Изготовление, заверение, отправка... дней десять. Двенадцать.

Двенадцать, отметил про себя Эдмунд.

Он ставил на десять и получил двенадцать, а если Кеттл вздумает заболеть — а Кеттл непременно вздумает заболеть, — то и пятнадцать.

— И еще, — сказал нотариус. — Я обязан отметить, что если сведения из Хейлфорда придут раньше заключения господина Оуда, положение усложнится.

— Почему? — спросила Клара.

— Потому что тогда у нас будет два источника, — сказал Уэйборн с некоторым даже удовольствием, — и они, простите, будут говорить разное.

Артур Вентмор смотрел не на нотариуса.

Он смотрел на Эдмунда, и смотрел долго, и Эдмунд выдержал это, потому что был совершенно уверен: тут не к чему прицепиться. Депеша настоящая. Бланк настоящий. Станция настоящая. Он не подделал ни единой бумаги — он всего лишь рассказал одному мальчику, что было бы, если бы в Веллгарде кто-нибудь делал свою работу.

— Хорошо, — сказал Артур. — Ждем выписку.

Это было все.

Эдмунд поклонился и вышел, и в коридоре ему пришлось на секунду прислониться к стене, потому что ноги у него были ватные от счастья.

Двенадцать дней.

У него было два дня, от силы три, и он их почти потерял, а теперь у него было двенадцать. Он вырвал их из воздуха, из ничего, из разболтанной пружины и чужой обиды, за сорок крон и шесть минут работы ногтем и чайной ложкой.

Это была лучшая работа в его жизни.

Он был совершенно прав.

За ужином он позволил себе быть обаятельным.

Он делал это редко и понимал в этом больше, чем следовало. Быть обаятельным — не значит быть приятным; приятных за столом не помнят. Быть обаятельным — значит один раз за вечер сказать вещь, которую никто другой сказать не решился.

Августа пожаловалась, что в доме холодно.

— Это вторник виноват, — сказал Эдмунд.

— Что?

— Двери. Их с утра открыли для церемонии и продержали открытыми час. Дом выстыл и с тех пор не нагрелся.

— Так их и в субботу открывали, — сказала Клара.

— В субботу был ветер с востока, — сказал Эдмунд. — А во вторник не было никакого, и теплый воздух просто ушел вверх и наружу. Дому нужна неделя, чтобы это вернуть. — Он пожал плечами. — Ваш батюшка, судя по всему, в третий раз выстудит дом в четверг.

За столом стало тихо.

Потом Августа засмеялась.

Она смеялась долго, сухо и с наслаждением, и один раз даже стукнула лорнетом по ска-терти, и Виктор, обрадовавшись, немедленно засмеялся тоже, хотя ничего не понял.

Артур Вентмор не смеялся, но Артур Вентмор посмотрел на Эдмунда — коротко, сбоку, — и в этом взгляде было на одну сотую больше, чем неделю назад. Ровно на ту сотую, которой человек отмечает, что собеседник, оказывается, живой.

Эдмунд Фарроу сидел за столом на восемнадцать персон, чувствовал на себе внимание четверых и совершенно отчетливо понимал, что нравится.

Он нравился Августе, потому что починил ей лорнет. Он нравился прислуге, потому что не спрашивал. Он нравился Виктору, потому что был против Артура. Он был занят Артуру, потому что не взял двадцать тысяч.

За восемь дней он превратился из скандала во дворе в человека, которого просят сесть ближе.

Это был, разумеется, его настоящий талант, и он это знал, и он именно на это и жил, — но никогда еще не получалось так быстро и так чисто.

Он положил себе еще рыбы.

После ужина, в гостиной, Клара Вентмор позвонила и попросила Бримли принести теле-графный журнал.

— Журнал, мисс?

— Расходный. За неделю. Мне нужно свести с конторскими, у меня не сходится на четыре кроны.

— Я подам утром.

— Подайте сейчас, — сказала Клара Вентмор, — я все равно не сплю.

Глава 14: Цена чужого шума

Зеленая карета вернулась в воскресенье, около полудня, и остановилась не у крыльца, а у нижних ворот.

Эдмунду сказали об этом так, как в таких домах говорят подобные вещи: Бримли нашел его в библиотеке, сообщил, что господин Варренхольм проездом и был бы рад пройти по парку, и удалился, не дожидаясь ответа, потому что ответа тут не предполагалось.

Эдмунд взял пальто и пошел.

Адриан Варренхольм ждал его на аллее, засунув руки в карманы и разглядывая вязы. Механик в кожаном фартуке стоял в сорока шагах у кареты и возился с котлом, всем своим видом показывая, что ему решительно нет дела до того, что происходит на аллее.

— Мерзкая погода, — сказал Адриан. — Пройдемся?

Первые сто шагов он говорил о деревьях. Он говорил о них хорошо, со знанием, и объяснил Эдмунду, почему западная половина аллеи болеет, а восточная нет, и почему это, вероятнее всего, не деревья виноваты, а дренаж.

— Здесь все всегда из-за воды. Вы, как колдренский житель, должны понимать.

— Должен.

— Вы не понимаете, — сказал Адриан.

Он произнес это тем же ровным тоном, каким говорил про дренаж.

— Господин Блэкмор или как вас там, давайте не будем тратить ваше и мое время. Вы не из Грейвелла, вы никогда не были в Колдрене дольше, чем проездом, и незаконный сын из вас такой же, как из меня епископ.

Эдмунд не остановился.

Это стоило ему некоторых усилий, но он не остановился и даже не сбился с шага, потому что первое правило при разоблачении — идти дальше. Человек, который замер, признался. Человек, который идет, еще может оказаться оскорблен.

— Это серьезное обвинение.

— Помилуйте, какое обвинение. К Уэйборну я с этим не пойду. Мне решительно все равно, кто вы такой.

— Отчего же?

— Оттого, что вы дешевый, — сказал Адриан Варренхольм с обезоруживающей прямо-той. — Простите, это о цене. Качество у вас, насколько я могу судить, весьма недурное: вы девятый день держитесь в доме, где вас с первого часа считают лжецом, и вас до сих пор не вышвырнули. Это хорошая работа. Я бы вас нанял.

— Вы меня нанимаете?

— Да.

Они дошли до поворота аллеи, где стояла каменная скамья, мокрая насквозь. Адриан посмотрел на нее с сожалением и пошел дальше.

— Вам делали предложение в четверг. Двадцать тысяч, наличными, из банковской посылки, привезенной в среду от «Ринделя и Хоу». Вы отказались.

Эдмунд промолчал.

— Меня это заинтересовало. Я, признаться, два дня потом думал только об этом. Человек в вашем положении не отказывается от двадцати тысяч, если он не круглый идиот. А идиотом вы быть не можете, потому что идиота Артур не держал бы девять дней.

— Я подумал, что цена еще не установилась.

— Правильно подумали. Она не установилась. Она и не установится до января.

Он остановился.

— Так вот. Я предлагаю вам пятьсот крон сейчас и две тысячи в тот день, когда контора «Мэнвилл и Дрейк» примет заключение по вашему делу. Заключение будет отрицательным — вы это знаете, я это знаю, Оуд это выяснит во вторник, самое позднее в среду. Мне безразлично, что там будет написано. Я плачу за дату.

— Не понимаю.

— Все вы понимаете. — Адриан поднял воротник. — Я плачу вам за то, чтобы вы оставались в Вентмор-Грейндже.

Эдмунд постоял на мокрой аллее и посчитал.

Считать, впрочем, было почти нечего. Здесь все лежало на поверхности, и Адриан Варренхольм и не думал ничего прятать — а это само по себе означало, что дело он имеет с человеком, которого не боится совершенно.

— Вам нужно, чтобы дом шумел, — сказал Эдмунд.

— Мне нужно, чтобы дом был занят, — поправил Адриан. — Шум — лишние издержки. В январе я приеду сюда разговаривать об обеспечении, и мне будет гораздо приятнее разговаривать с человеком, который два месяца просидел на самозванце, чем с человеком, у которого было два свободных месяца на то, чтобы подумать о своих бумагах.

— И это стоит две с половиной тысячи?

— Это стоит ровно столько, сколько я готов заплатить, не задумываясь. — Адриан чуть улыбнулся. — Видите ли, если бы я предложил вам двадцать, вы бы решили, что я в вас нуждаюсь, и начали бы торговаться, и мы бы с вами испортили прекрасные отношения. А две с половиной тысячи у меня проходят по графе мелких расходов.

Он вынул из внутреннего кармана конверт.

— Здесь пятьсот. Вы можете взять их и не сделать ничего. Я не возьму с вас расписки и не пришлю за ними. Более того: я не буду вас ни о чем просить. Я не хочу, чтобы вы что-нибудь делали, — я хочу, чтобы вы оставались на месте и продолжали быть собой. Вам за это, как я понимаю, и так неплохо платят.

Эдмунд смотрел на конверт.

Конверт был плотный, кремовый, без надписи, и лежал на ладони в серой перчатке очень ровно.

В этот момент Эдмунду Фарроу следовало бы вспомнить целый ряд вещей.

Что у него в кармане осталось сорок семь крон, потому что сорок ушли мальчику, и что из этих сорока семи ему предстоит платить еще неизвестно за что.

Что деньги, взятые у кредитора того дома, в котором ты живешь, превращают тебя из постороннего человека в чью-то принадлежность.

Что человек, который платит тебе за бездействие, платит за него не просто так.

И, главное, что у денег Адриана Варренхольма была одна особенность, о которой в эту минуту не подумал бы никто, и Эдмунд не подумал: они означали уговор. А уговор, в отличие от обещания, кто-нибудь непременно приходит взыскивать.

Эдмунд Фарроу взял конверт.

— Умница, — сказал Адриан Варренхольм.

— Один вопрос.

— Разумеется.

— Вы сказали: «продолжайте быть собой». — Он убрал конверт во внутренний карман, не пересчитывая, потому что пересчитывать при таком человеке значит признать, что пятьсот крон для тебя деньги. — Кем именно?

Адриан посмотрел на него с явным удовольствием.

— Хороший вопрос. Вот за такие вопросы я и плачу.

Они прошли еще с десяток шагов. Под ногами чавкало.

— Быть собой означает в вашем случае следующее. Не съезжать. Не ссориться с Артуром до крика: крик кончается тем, что вас вывозят на станцию. Не мириться с ним вовсе: примирение кончается тем, что о вас перестают говорить. Держаться ровно посередине — неприятно, но переносимо. Как камень в сапоге.

— Прелестное сравнение.

— Точное. Всю дорогу думаешь о ноге, а не о дороге. К январю мне нужен Артур Вентмор, который два месяца думал о ноге.

Эдмунд отметил про себя, что это первое за девять дней описание его роли, в котором не было ни малейшей ошибки.

— А если он все-таки додумается до дороги?

— Тогда я потеряю две с половиной тысячи крон, — сказал Адриан Варренхольм, — и приобрету уверенность, что имею дело с умным человеком, а это, поверьте, в моем деле дороже. Я в любом случае в выигрыше, господин Блэкмор. Я всегда так устраиваю.

Обратно они шли молча почти до самой кареты.

— Одна вещь, — сказал Адриан у ворот. — Бесплатно, как и в прошлый раз.

— Слушаю.

— Я навел о вас справки в Велмонте. По привычке: я навожу справки обо всех, кто оказывается в комнате, где считают мои деньги. Это заняло у моего человека два дня и обошлось в девять крон, что, согласитесь, недорого.

Он натянул перчатку плотнее.

— Найти вас не удалось. Совершенно. Ни в приходских, ни в полицейских, ни в конторских. Натаниэля Блэкмора в Велмонте нет, никогда не было и никогда не будет, и это, признаться, меня даже восхитило: я привык, что люди врут наполовину.

— Стало быть, ваши девять крон пропали.

— Не совсем. — Адриан открыл дверцу. — Мой человек, за неимением Блэкмора, привез мне другое. Восьмого числа, в четверг, с Южного вокзала в четверть одиннадцатого ушел поезд, и во втором классе ехал господин лет тридцати, обходительный, с одним чемоданом, который назвал в кассе имя, какого кассир потом так и не вспомнил. На нашей станции он сошел и два дня прожил в шести милях отсюда, в комнате над лавкой, где берут полторы кроны и не спрашивают имени. Хозяйка говорит, что он платил вперед и много ходил пешком. Особо по лужам.

Он поставил ногу на подножку.

— Я не знаю, тот ли это человек. Я не давал распоряжения выяснять дальше и, вероятно, не дам. Мне это неинтересно, я уже говорил.

Он обернулся.

— Но раз в год, господин Блэкмор, я перечитываю свои старые записки. Просто чтобы не пропадали девять крон.

Дверца закрылась.

Механик открыл клапан, из-под кожуха пошел белый хвост, и зеленая карета покатила вниз, к нижней дороге, неторопливо и очень тяжело.

Эдмунд стоял у ворот с конвертом в кармане. Спина у него похолодела — ровно на то время, какое понадобилось, чтобы сосчитать. За ним следили. Его проверяли. На него потратили два дня и девять крон. Самозванец, на которого тратятся, — это самозванец, который дорожает, и от этой мысли спине сделалось заметно теплее.

Он вернулся в дом, поднялся к себе, запер бы дверь, если бы в ней был ключ, сел на кровать и сосчитал деньги.

Пятьсот сорок семь крон.

Потом он достал из-под подкладки чемодана — из-под самого шва, куда не заглянул и тот, кто обыскивал вещи на второй день, — билет, который возил с собой всегда и никогда не

использовал, — незаполненный бланк железнодорожного билета, купленный два года назад у одного человека в Дюпорте за неприличную цену, — и долго на него смотрел.

Уехать можно было сегодня.

У него было пятьсот сорок семь крон — больше, чем у него обычно оставалось после любого из его дел: деньги у Эдмунда Фарроу никогда не задерживались дольше, чем требовалось, чтобы потратить их на следующее. У него был вечерний поезд. У него была комната в Соляном ряду, до которой Адриан Варренхольм пока не добрался. Пока.

А еще у него было двенадцать дней, выигранных телеграммой, и ощущение — то самое, ради которого он вообще жил, — что в этом доме лежит что-то, стоящее сто тысяч.

Он убрал билет обратно под подкладку.

Он и сам не взялся бы объяснить, что именно решил в ту минуту. Кажется, ничего он не решал: рука сама вернула бланк под подкладку, а голова была в это время занята арифметикой. Пятьсот сорок семь крон — это девять месяцев жизни в Соляном ряду, с углем и с обедом. Сто тысяч — это все остальное.

В том и беда людей его ремесла. Они превосходно считают чужие деньги и совершенно не умеют считать собственное время.

Было уже совсем поздно, когда в дверь постучали.

— Господин Блэкмор, — сказал Бримли из коридора. — Мисс Вентмор просит вас спуститься в зимний сад.

— Сейчас?

— Мисс Вентмор, — сказал Бримли, — просила передать, что она подождет столько, сколько потребуется, и что дождь, по ее мнению, до утра не перестанет.

Глава 15: Зимний сад

Он спускался не торопясь, и не для того, чтобы заставить ее ждать. Он спускался медленно потому, что по дороге нужно было решить, за чем именно его зовут, а вариантов было четыре, и три из них ему нравились.

Первый: мисс Вентмор хочет денег. Это был лучший вариант. Женщина, у которой брат держит кассу, а отец держал все остальное, рано или поздно начинает считать, сколько стоит ее молчание, — и Эдмунд готов был помочь ей посчитать, за небольшой процент.

Второй: мисс Вентмор хочет, чтобы он уехал, и собирается сказать это без брата, по хорошему, может быть, даже с небольшой суммой из собственных карманных. Это тоже было недурно: такие разговоры он умел поворачивать так, что сумма к концу разговора подрастала.

Третий: мисс Вентмор — и это он допускал с той профессиональной скромностью, которая никогда не мешала ему допускать, — просто хочет поговорить. Двадцать четыре года, дом в трауре, брат, который говорит «не беспокойся», и единственный за много лет человек в доме, пришедший снаружи. Такое случалось. Он знал, как с этим обращаться, и знал, что обращаться с этим надо осторожно, потому что это дороже денег и опаснее угроз.

Четвертый вариант он рассматривать не стал, потому что четвертый был такой: мисс Вентмор что-то нашла.

На последней ступеньке он поправил манжеты, проверил пальцем пудру у виска и вошел, совершенно готовый к первым трем.

Зимний сад Вентмор-Грейнджа был пристроен к западному торцу старого корпуса и представлял собой длинную стеклянную галерею на чугунных ребрах, в которой круглый год держали пальмы, четыре лимонных деревца и полное безразличие семьи.

Ночью он был красив.

Дождь шел по стеклу сплошняком, без просветов, и в свете двух ламп видно было только это: черное, движущееся, бесконечное. Пальмы стояли в кадках как декорации к спектаклю, который отменили. Пахло землей, ржавчиной и чем-то сладким.

И было очень жарко.

Эдмунд понял это на третьем шаге. Вдоль стен, у самого пола, шли толстые чугунные трубы в облупившейся краске, и они не грели — они пекли. Воздух стоял влажный, тяжелый, неподвижный; стекло изнутри запотело на высоту человеческого роста. Где-то под полом, очень ровно, шло низкое гудение, и Эдмунд, все уже понимавший про этот дом, автоматически отметил: насосная. Западный ветер.

Клара Вентмор сидела в плетеном кресле у третьей пальмы, положив на колени большую книгу в кожаном переплете.

Рядом на столике стояла лампа, лежал карандаш и стоял стакан воды.

— Садитесь, — сказала она.

Эдмунд сел.

— Здесь ужасно жарко.

— Да. Здесь самое жаркое место в доме. Летом тут невозможно находиться, а зимой Бримли жалуется, что мы жжем уголь ради четырех лимонов, которые никто не ест.

Она открыла книгу на заложенной странице.

— Я подумала, что вам будет удобнее здесь, чем в гостиной. В гостиной ходят.

Кресло под ним скрипнуло так, как скрипят только плетеные кресла, простоявшие много лет в сырости, — громко, с претензией, будто его разбудили. Клара на скрип не обернулась. Она листала книгу, водя карандашом по строкам, и Эдмунд, у которого было полминуты, чтобы понять, что происходит, потратил их на то, чтобы рассмотреть книгу у нее на коленях. Книга

была в кожаном переплете, разлинованная от руки, и он узнал ее раньше, чем Клара перевернула страницу, — и понял, что три варианта из четырех можно больше не рассматривать.

— У меня не сходилась на четыре кроны, — сказала Клара. — Я взяла журнал, чтобы свести за неделю. Это скучная работа. Бримли сводит по итогу и внутрь не смотрит.

Она повернула книгу к нему.

Страница была разлинована от руки, в пять колонок, и заполнена аккуратным старательным почерком, в котором кое-где еще проглядывал ученический наклон.

— Вот тут, семнадцатое. Суббота. Восемь входящих, четыре исходящих. Восьмая строка снизу.

Эдмунд посмотрел.

«214 | 15-25 | ВЕЛМОНТ ХАЙГ | ...»

«215 | 9-20 | ХЕЙЛФОРД АРХ | ПО ЗАПРОСУ ВАШЕМУ...»

— Номер двести пятнадцать записан после двести четырнадцатого. Это правильно: он записывает по порядку получения. Но время у двести четырнадцатого — двадцать пять минут четвертого, а у двести пятнадцатого — двадцать минут десятого, и принесли его позже.

— Это время подачи, а не получения.

— Да. Я сперва тоже так подумала. Он записывает время подачи, оно приходит вместе со станцией, все верно.

Она провела карандашом по колонке вверх.

— Тогда я посмотрела остальные. За неделю к нам пришло сорок три депеши. Из них тридцать девять записаны в порядке возрастания времени подачи внутри дня, потому что депеши обычно приходят сразу. Четыре нет. Из этих четырех три пришли издалека, с двух пересадок, и запоздали на час, полтора и два. — Она подняла глаза. — А одна опоздала на шесть часов десять минут, из места, до которого от нас одна пересадка в Велмонте.

— Линию могло оборвать.

— Могло, — согласилась Клара. — Тогда в журнале была бы отметка. Уилл ставит галочку и пишет «задержка линии», потому что Бримли по этим галочкам объясняется с конторой. За два года таких галочек одиннадцать. Семнадцатого ее нет.

— Мальчик мог забыть галочку. Суббота, депеш много, торопился.

— Мог, — снова согласилась Клара. — Я тоже так подумала и посмотрела, сколько у него было депеш в ту субботу до половины четвертого. Три. — Она показала карандашом. — Три депеши за полдня, господин Блэкмор. Уилл Тэтч за два года не забыл ни одной галочки в дни, когда их было двадцать. Он забыл ее в день, когда у него было три.

Эдмунд промолчал. Он чувствовал себя человеком, который пытается пройти в дверь, а ее перед ним вежливо закрывают — не захлопывают, а именно закрывают, придержав, чтобы не стукнула.

— Вы очень внимательны, мисс Вентмор.

— Я скучная. Я свожу каждую строку.

Она перевернула страницу обратно.

— Это первое. Второе хуже.

— «Хейлфорд арх», — прочла Клара. — Так записана станция.

Она перелистнула назад, глубже в журнал, и остановила палец.

— Двадцать шестого прошлого месяца нам пришла депеша из того же самого архива, по делу о старых страховых ведомостях. — Она повернула книгу. — Станция записана: «Хейлфорд-2».

Эдмунд посмотрел на строку.

«Хейлфорд-2».

— Городская станция у них первая, при вокзале. Вторая — в конторском квартале, там архив, суд и городское правление. У нее есть номер, и телеграфисты передают номер, потому

что иначе не разберешь, кто отвечает. — Она закрыла книгу на пальце. — Уилл Тэтч два года пишет то, что ему передают. Он никогда в жизни не написал бы «Хейлфорд арх». Он не знает, что там архив. Ему это не нужно знать.

Она помолчала.

— Такую станцию, — сказала Клара Вентмор, — мог написать только тот, кто ее придумал.

Эдмунд сидел очень прямо.

Внутри у него было пусто, чисто и почти приятно — то знакомое, как перед дракой, состояние, в котором остается только считать.

Он считал.

Он ошибся дважды, и обе ошибки были его собственные, и обе были из одного и того же теста. Он сочинил станцию, потому что ему нужно было, чтобы депеша выглядела ученой, и написал «арх», чтобы читатель не сомневался, откуда она. И он назвал время «9-20», потому что хотел быть раньше Оуда, и не потрудился сложить его с расстоянием.

Он, который построил всю эту аферу на расстояниях и часах. Он, который три дня сидел в читальне и высчитывал, сколько идет письмо до Грейвелла и обратно.

Обиднее всего было то, что эти ошибки ничего ему не принесли. Будь «Хейлфорд арх» хоть на крону выгоднее, чем «Хейлфорд-2», он бы себя понял. Но он наврал лишнее бесплатно — из одного удовольствия сделать красиво, — и теперь за это удовольствие ему выставляли счет в зимнем саду, при лимонах, под дождем. Ни один порядочный мошенник, думал Эдмунд Фарроу, не должен делать ничего бесплатно. Даже врать.

И еще одно он отметил тогда же, на будущее, — и больше не забывал. У всякой депешы есть журнал, а у всякого журнала рано или поздно находится человек, которому скучно. С того вечера он читал чужие телеграммы так, как их читала Клара Вентмор: сперва время подачи, потом станцию, потом пометки на полях — и только в последнюю очередь текст.

— И третье, — сказала Клара.

— Есть третье?

— Есть. «Сверено на месте в Грейвелле».

Она положила карандаш.

— От Хейлфорда до Грейвелла семь миль. Архив открывается в девять. Чтобы к двадцати минутам десятого письмоводитель Кеттл нашел в неразобранных ящиках нужную запись, прочел ее, проехал семь миль до Грейвелла, сверился с приходом, вернулся и сел за аппарат, ему следовало бы иметь лошадь, которая ходит быстрее телеграфа. Я не думаю, что у них есть такая лошадь. Я бы знала: мы у них ее как-то нанимали.

Эдмунд едва не спросил, сколько стоила лошадь. Спрашивать было, разумеется, нельзя, но ему действительно стало интересно, и он отметил про себя, что это дурной знак: когда тебе интересно, почем лошадь, на которой тебя сейчас повесят, — значит, ты уже почти смирился.

Эдмунд молчал.

Он молчал не потому, что искал ответ, — ответ он уже искал и уже не нашел, — а потому, что в этот момент с ним происходила совершенно другая неприятность.

В зимнем саду было жарко, как в прачечной.

Он просидел в этом кресле около десяти минут, и последние три из них у него по левому виску, у самой линии волос, медленно шла тонкая капля.

Он знал, что она идет. Он знал, что она собирает на пути все, что там было, и что за ней уже идет вторая, и что под ними остается полоса, и что полоса эта на два тона темнее, чем остальное лицо.

Он мог бы вытереть.

Вытереть один раз — значит показать, что тебе жарко. Вытереть дважды — значит показать, что тебя беспокоит не жара.

Клара Вентмор смотрела ему прямо в лицо и молчала.

Она молчала долго — секунд пятнадцать, целую вечность, — и ни разу не отвела глаз, и Эдмунд, у которого было одиннадцать лет ремесла, три города и одна отсидка, впервые в жизни ощутил то, что испытывают люди, которых он обкрадывал: полную, тупую, беспомощную невозможность что-либо предпринять.

Потом он достал платок и вытер лицо.

Он сделал это медленно, тщательно и до конца. Он прошелся по лбу, по вискам, по скулам, по переносице и по подбородку, потом развернул платок, посмотрел на него — платок был серый — сложил и убрал в карман.

— Здесь действительно очень жарко, — сказал он.

— Я знаю, — сказала Клара Вентмор. — Я поэтому вас сюда и позвала.

Глава 16: Вам не идет пудра

Что-то переменялось.

Эдмунд Фарроу почувствовал это физически, как перемену давления. Спина у него опустилась на полдюйма. Плечи встали иначе. И голос, когда он заговорил, оказался не тот, каким он говорил девять дней, — ниже, суше и быстрее, без этой выученной книжной правильности, от которой у него уже сводило челюсть.

— Вы ждали меня здесь давно?

— С восьми.

— Бримли сказал, вы подождете сколько потребуется.

— Я так и сказала, — согласилась Клара. — Мне нужно было, чтобы вы пришли, зная, что вас ждут.

— Вы могли просто пойти к брату.

— Могла.

— Отчего не пошли?

Клара взяла со столика стакан воды и подала ему.

— Пейте. У вас губы белые.

Он выпил.

— Оттого, что если я пойду к Артуру и покажу ему журнал, случится вот что. Артур вызовет Уилла Тэтча. Уилл Тэтч заплачет и скажет все за четыре минуты. Вас выведут за ворота — сегодня, ночью, без вещей, потому что Артур не любит, когда ложь остается ночевать. Уилла рассчитают без места и без рекомендации, и он поедет обратно в свой Хайгейт, к матери, девятнадцати лет, с волчьим билетом на всю жизнь, — а дом наймет нового мальчика и через три недели забудет, как звали прежнего.

Она поставила стакан обратно.

— А послезавтра, — сказала Клара Вентмор, — Артур будет делать ровно то же самое, что делал всю эту неделю. И я по-прежнему не буду знать, что именно.

— Я слушаю, — сказал Эдмунд.

— Хорошо. Тогда я скажу сразу и прямо, а вы не перебивайте, потому что мне это нелегко.

Она сложила руки на закрытом журнале.

— Мне двадцать четыре года. Отец умер одиннадцать дней назад. Все, что у меня есть в этом мире, записано в бумагах, которых я никогда не видела.

Эдмунд поднял голову.

— Не удивляйтесь. Так у всех. У меня есть доля, она обозначена в брачном договоре моих родителей и в двух дополнениях к нему, и я знаю о ней ровно то, что мне говорили в четырнадцать лет: что я обеспечена. Отец говорил «ты обеспечена», а Артур в четверг, уже после похорон, сказал «не беспокойся».

Она посмотрела на свое отражение в черном стекле.

— В этом доме «не беспокойся» — это статья расхода.

Эдмунд Фарроу слушал ее и делал то, чего в его положении делать не следовало: узнавал.

Он знал это чувство хорошо, хотя за одиннадцать лет научился не давать ему ходу. «Ты обеспечен» — ровно та фраза, какую говорят человеку, у которого ничего нет. Ее произносят всегда спокойно, всегда сверху и всегда с полной уверенностью, что оказывают любезность. Он слышал ее однажды, очень давно, в чистой рубашке, которую выдали утром по случаю попечителей и забрали вечером, — и запомнил не рубашку и не слова, а интонацию.

Разница между ним и Кларой Вентмор состояла в том, что ей эту фразу говорили в доме с двумя флигелями и крытым переходом.

Разница, вообще говоря, немалая. Интонация была та же.

— Вы полагаете, что ваш брат...

— Я ничего не полагаю, — оборвала Клара. — Я не думаю, что Артур меня обкрадывает. Я думаю гораздо худшее: я думаю, что моя доля во что-нибудь вложена. Что она давно перестала быть суммой и стала частью какого-нибудь обеспечения, залога или оборота, и что Артур каждый раз говорит «не беспокойся», потому что на две фразы у него нет времени уже одиннадцать дней.

Она повернулась к нему.

— Господин Блэкмор, я хочу один раз увидеть цифру. Свою.

Эдмунд промолчал.

— Теперь о вас, — сказала Клара.

— Да.

— Я не знаю, кто вы, и, честно говоря, мне это довольно безразлично. — Она произнесла это без всякого высокомерия, как говорят об очевидном. — Меня интересует один-единственный вопрос, и я бьюсь над ним девять дней.

— Какой?

— Почему мой брат вам платит, — сказала Клара Вентмор.

Она подняла палец.

— Подождите. Я объясню, чтобы вы поняли, насколько это серьезно. В субботу вы явились во двор и назвались. Артур мог сделать три вещи. Он мог вас выгнать — скандал на четверть часа, газетчики напишут две строчки, к среде забудут. Он мог передать вас поверенным — это неприятно, дорого и медленно, но совершенно безопасно. Или он мог впустить вас в дом.

— Он впустил.

— Он впустил вас в дом, посадил в третий экипаж при сорока свидетелях и назвал по фамилии. Я двадцать четыре года смотрю, как мой брат принимает решения. Он не делает ничего, что можно не делать. Он не впустил бы вас, если бы имел возможность не впускать.

Она помолчала.

— В четверг он предложил вам двадцать тысяч крон.

— Откуда вы...

— Из кассовой книги. Я же говорю: у меня не сходились на четыре кроны. Когда начинаешь сводить, находишь все.

Эдмунд засмеялся.

Это вышло само собой — короткий, хриплый, совершенно искренний смешок, первый настоящий звук, который он издал в этом доме за девять дней.

Клара посмотрела на него с любопытством.

— Простите, — сказал он. — Продолжайте.

— Двадцать тысяч крон за то, чтобы человек, которому никто не верит, уехал на четыре дня раньше, чем контора «Мэнвилл и Дрейк» докажет то, что и так все знают. — Она наклонила голову. — Мой брат не сумасшедший и не трус. Значит, он платит не за вас. Значит, он платит за что-то, что стоит рядом с вами, а я не вижу, что.

Она встала.

Ей было жарко тоже — Эдмунд с некоторым злорадством увидел у нее на виске прилипшую прядь, — но она этого, кажется, не замечала вовсе.

— Вот чего я хочу. Я хочу знать, что в этом доме стоит двадцать тысяч крон. Я не собираюсь никого разоблачать, я не пойду в газету и не побегу к нотариусу. Я хочу знать, потому что я тут живу.

— И что же я? — спросил Эдмунд.

— А вы — единственный подходящий человек.

— Отчего?

— Оттого, что у вас нет имени. Вы не понимаете, насколько это редкая вещь. Я не могу ничего сделать в этом доме. Я не могу войти ни в одну комнату незаметно, я не могу ничего спросить у прислуги так, чтобы к вечеру об этом не знал Бримли, я не могу написать ни одного письма, которое не пойдет через нашу же корреспондентскую. Я Клара Вентмор. Меня видно отовсюду.

Она подошла к трубе, потрогала ее тыльной стороной руки и отдернула.

— А вас нет. Вас нет нигде. Вас нельзя вызвать в контору, на вас нельзя завести дело, у вас невозможно ничего отнять, потому что у вас ничего нет, и вас нельзя ни с кем поссорить, потому что вы ни с кем не знакомы. Через две недели вы исчезнете, и от вас не останется даже фамилии, потому что фамилия у вас и так поддельная.

— Вы описываете крайне жалкое существо.

— Я описываю инструмент, — сказала Клара Вентмор.

Она вернулась и села.

— И потом, вы умеете руками.

— Простите?

— В воскресенье вечером вы починили тетушке лорнет. Вы сделали это за сорок секунд, булавкой, не глядя, потому что смотрели в огонь. Я всю неделю про это думала.

Она подняла на него глаза.

— Господин Блэкмор, я не разбираюсь в шлифовке стекол, но я двадцать четыре года смотрю, как в этом доме работают люди. Так не умеет никто, кто не делал этого тысячу раз.

— Она чуть пожала плечами. — За девять дней это единственное настоящее, что я за вами видела. — Она помолчала. — И вам не идет пудра.

— Отчего же?

— Под ней вы смуглее, чем полагается уроженцу болот. Когда у вас потекло по виску, полоса вышла такая, что я на минуту решила, будто вы весперийского рода. В Грейвелле таких не рожают.

— Я велмонтский.

Это было правдой — настолько, насколько он вообще что-нибудь знал о себе наверняка. Эдмунд Фарроу молчал долго.

Дождь шел по стеклу. Труба под полом гудела. Где-то в темноте с пальмового листа капало на кафель, ровно, раз в три секунды.

Он перебрал все.

Он мог встать и уйти — и к утру быть за воротами, ночью, без вещей, что означало пятьсот сорок семь крон и сгоревшую работу.

Он мог соврать еще раз — и это был бы очень хороший ход против кого угодно другого.

Он мог согласиться.

Согласиться означало: отдать в чужие руки единственное, что у него было, — свою невидимость. С этой минуты в доме был бы человек, который знает. Не подозревает — знает. За одиннадцать лет Эдмунд Фарроу ни разу не позволил себе такого и гордился этим примерно так же, как гордился тем, что не подделывает документов.

И вот что было в этом хуже всего: посчитать он не мог. Все остальное в его жизни имело цену — двор, гроб, шуба Виктора, косое стекло в лорнете Августы, четыре кроны за сведения о том, что богатый человек собирается умереть. А невидимость цены не имела. Ее никогда не продавали. Ее только теряли, и теряли обыкновенно один раз.

Он посмотрел на Клару Вентмор, которая сидела напротив в плетеном кресле, с мокрой прядью на виске и закрытым телеграфным журналом на коленях, и с некоторым изумлением обнаружил, что впервые за девять дней в этом доме ему хорошо.

Это было отвратительное открытие, и он сделал вид, что его не было.

— Что вы даете? — спросил он.

— Дом. Я знаю в нем все. Я знаю, где что лежит, кто когда спит, какие двери скрипят, чем пахнет на каждом этаже и в котором часу Бримли обходит первый этаж, потому что он обходит его двадцать шесть лет в одно и то же время. Я знаю, что в нижнем коридоре под прачечной есть ход, по которому можно пройти из нового крыла в старое, и что им никто не пользуется, кроме горничных.

— Это я знаю.

— Вы знаете, что он есть. А я знаю, куда он выходит.

Эдмунд склонил голову.

— Что еще?

— Я не скажу Артуру про журнал. И не дам сказать Уиллу Тэтчу, если до этого дойдет, потому что мальчик не виноват ни в чем, кроме того, что ему девятнадцать лет и его три месяца никто не слушал.

— А взамен?

— Взамен, — сказала Клара, — вы делаете для меня две вещи. Первая: все, что вы узнаете в этом доме, вы говорите сначала мне.

— А вторая?

— Вторую я скажу, когда она понадобится. Я еще не знаю, что это будет. Я знаю только, что она будет неприятной.

— Нет, — сказал Эдмунд.

Клара подняла брови. Судя по всему, это слово в ее адрес произносили нечасто, и она нашла его скорее любопытным, чем оскорбительным.

— Нет?

— Нет к «скажу, когда понадобится». Пустых строк я не подписываю.

— Ладно, — сказала она, подумав. — Что вы предлагаете?

— Три условия.

Он поднял руку и начал загибать пальцы — неторопливо, потому что торговаться из неудобного положения следует медленно: медлительность выглядит как сила даже тогда, когда ею не является.

— Первое. Вторую вещь вы называете вслух до того, как я начну ее делать. Не за неделю, не за час — но вслух и заранее. И я имею право один раз сказать «нет».

— Один?

— Один. Два — это уже не союз, а переписка.

Уголок ее рта дрогнул.

— Принято. Второе?

— Второе: вы не рассказываете обо мне никому. — Он помолчал. — Я имею в виду не Артура и не Бримли. Я имею в виду вообще никому. Ни через год, ни через двадцать лет, ни в шутку, ни за столом, ни человеку, которому вы будете доверять совершенно. Такой человек у вас когда-нибудь появится. Вот ему-то обыкновенно и рассказывают.

— Вы это всерьез?

— Это единственное из трех, что мне действительно важно.

Он произнес это ровно, не понижая голоса и не делая паузы, и именно поэтому Клара Вентмор посмотрела на него внимательнее, чем смотрела за весь вечер.

— Принято. Третье?

— Третье вам не понравится.

— Пока мне все нравится.

— Третье, — сказал Эдмунд, — вы мне платите.

Стало очень тихо. Труба под полом гудела. С пальмового листа капало на кафель, ровно, раз в три секунды.

— Я предложила вам дом, — сказала Клара.

— Вы предложили мне сведения. На сведения билет не купишь.

— Сколько?

— Пока нисколько.

Она нахмурилась.

— Я не назову сумму сейчас, — сказал Эдмунд, — и не потому, что набиваю цену. Я не знаю, что мы найдем. Если там ничего нет — я не возьму с вас ни кроны: за пустую работу я не беру — от этого портится рука. А если там что-нибудь есть, я назову цену. Заплатите — хорошо. Нет — разойдемся.

Клара думала довольно долго. За стеклом галереи шел дождь, и в жарком воздухе зимнего сада пахло мокрой землей и железом.

— Знаете, что самое неприятное? — сказала она наконец. — Это первое честное предложение, которое мне сделали в этом доме за девять дней. И сделал его человек, который врет про собственную мать.

— Одно другому не мешает.

Она протянула руку.

Эдмунд посмотрел на эту руку — узкую, с коротко остриженными ногтями, с чернильным пятном на среднем пальце — и пожал ее.

Рука была горячая. В зимнем саду было жарко, как в прачечной.

— И последнее, — сказала Клара, поднимаясь и беря лампу. — Чтобы между нами не было недоразумений.

— Да?

— Я вас не жалею. Я не считаю вас несчастным, я не считаю вас обаятельным и я совершенно точно не считаю, что вы хороший человек, которого довели обстоятельства. Вы приехали к нам на похороны, чтобы взять деньги с людей, у которых умер отец, и придумали для этого мать, дядю и целую деревню. Это очень гадко. Я не буду делать вид, что это не так, и вам не советую.

— Я и не делаю.

— Делаете. Вы это делаете двадцать четыре часа в сутки. Вы, кажется, уже сами не замечаете.

Она пошла к двери и у выхода остановилась.

Лампа в ее руке качнулась, и по запотевшему стеклу галереи прошли длинные тени от пальмовых листьев.

— Господин Блэкмор.

— Да?

— Вы все это время думали, что вы здесь самая большая ложь. Что вы вошли в честный дом и обманываете его девять дней подряд, и что рано или поздно вас поймают и выведут, потому что здесь порядок, а вы беспорядок.

Она открыла дверь. В галерею потянуло холодным.

— Вы ошибаетесь, — сказала она. — Вы здесь самая маленькая.

Глава 17: Условия союза

Вторая депеша от Оуда пришла в воскресенье, к вечернему чаю, — за несколько часов до зимнего сада.

Артур прочел ее при всех, в гостиной, что было само по себе демонстрацией: он мог прочесть ее у себя и не прочел.

— «Грейвелл, — прочел он ровно. — Приход святого Агаллия. Книги подтоплены девятнадцать лет назад, восстановлены частично, частичное восстановление вывезено в Хейлфорд. Опрошены: приходский священник, причетник, сторож при кладбище, трое старожилов. Заявленной Элеоноры Блэкмор в приходе не помнят. Могила ее на кладбище нет. Продолжаю в Хейлфорде».

Он сложил бланк.

— «Продолжаю в Хейлфорде», — повторил он.

Тишина в гостиной длилась, наверное, секунды четыре, и за эти четыре секунды Эдмунд успел прожить небольшую жизнь.

«Могила ее на кладбище нет».

Он ошибся в одном месте, и ошибся крупно. Он считал, что приход с подтопленными книгами — это пустое место. А приход с подтопленными книгами — это место, где нет бумаг, но есть камни; и камни ничем не заливают, и Персиваль Оуд, двадцати шести лет, обошел кладбище.

— Господин Блэкмор, — сказал Артур.

— Да.

— Вам есть что сказать?

Эдмунд поднял голову и очень спокойно сказал:

— У матери не было камня.

Он не заготавливал этой фразы. Она пришла сама, из той же самой пустой звенящей ясности, из которой в прошлое воскресенье пришел дядя Аврелий.

— На ее могиле стоит доска. Деревянная. Я поставил ее в двадцать первом году, и мне было пятнадцать лет, и она стояла мне четыре кроны с полтиной. Через два года я приехал, и доски не было. — Он пожал плечами. — Там сырой грунт. Там все сырое.

Августа, сидевшая у камина, охнула.

Виктор сказал: «Ну вот, ну вот же».

Клара Вентмор смотрела в огонь и не шевелилась.

Артур Вентмор постоял, глядя на бланк.

— Продолжаю в Хейлфорде, — сказал он в третий раз и вышел.

Работать они начали в понедельник, в архиве номер два, при открытой двери и с ведома всего дома.

Это было решение Клары, и Эдмунд, поразмыслив, счел его превосходным. Всякий заговор, который прячется, обнаруживают на третий день. Заговор, который сидит в архиве с открытой дверью, разложив на столе конторские книги, и над которым дважды в час проходит Бримли с подносом, не обнаруживает никто, потому что смотреть там не на что.

— Я свожу расходы за три года, — объявила Клара за завтраком. — Господин Блэкмор будет мне читать цифры. Он все равно не знает, чем себя занять, а у меня от чтения вслух болит горло.

— Это неприлично, — фыркнул Виктор.

— Это скучно, — сказала Клара. — Приличным будет, если ты посидишь с нами.

Виктор посидел с ними одиннадцать минут.

Архив номер два помещался в конце нового крыла, был узок, холоден и заставлен до потолка.

— Здесь все, чего не жалко, — сказала Клара, стаскивая с полки третий том. — Расход, переписка по мелочам, счета поставщиков, ведомости. Важное в первом архиве, а первый архив за железной дверью, и ключ у Артура.

— Как и от кабинета.

— От кабинета два. Один у Артура, второй у Уэйборна, и это не считая печати. Печать на скобе. — Она положила том на стол и посмотрела на Эдмунда поверх переплета. — Я говорю это сразу, чтобы вы не тратили неделю на то, чтобы выяснить это самостоятельно.

— Благодарю.

— Не за что. Садитесь и слушайте, у меня мало времени: в полдень приедет Уэйборн, и я должна буду улыбаться.

Она открыла том.

— Я ищу третью неделю. И нашла пока две вещи. Первая касается телеграфа.

Она развернула перед ним вчетверо сложенный лист, исписанный ее собственной рукой: столбик дат, столбик цифр.

— За пять недель до смерти отца из этого дома ушло в Хейлфорд четырнадцать депеш. Пришло девять. Раньше, за все предыдущие полгода, — четыре и три.

— Ваш отец вел там дела.

— Отец вел там дела двадцать лет, и за девять лет, что есть провод, обходился двумя депешами в месяц, потому что заводская контора отчитывалась почтой, а почта дешевле. Четырнадцать за пять недель у меня не сходится. Он не мог ждать почты.

Она перевернула лист.

— И вторая вещь. Уже про Артура. С четверга после похорон из дома ушло три письма, которых нет в корреспондентской книге.

— Как вы это узнали?

— От Хеммета. Конюх. Он глух на одно ухо и оттого считает нужным говорить все дважды, так что рано или поздно все узнаешь. Трижды за неделю Артур отправлял его верхом на станцию с письмом, минуя корреспондентскую, и трижды велел отдавать в руки почтмейстеру, а не в ящик.

Эдмунд положил ладони на стол.

— Это очень хорошо.

— Что именно?

— Все. В обход своей конторы пишут, когда не хотят, чтобы письмо стояло в своей же книге. Значит, он боится того, кто однажды откроет его расходную ведомость.

— Варренхольмы.

— Или кто-нибудь еще, у кого будет право ее открыть. — Эдмунд подумал. — Кому он писал?

— Хеммет неграмотен. Он смотрел на конверт и запомнил, что фамилия короткая, а первая буква — как крендель с хвостом. Я показала ему азбуку. «Р».

На последней букве в коридоре послышались шаги, и в дверях возник Бримли с подносом.

— ...рогожа, две штуки, — сказал Эдмунд, не меняя голоса. — Крона двадцать.

— Крона двадцать, — повторила Клара и записала.

— Свечи, восемь дюжин. Три кроны двенадцать.

— Три двенадцать.

Бримли поставил поднос, собрал пустые чашки и оглядел архив взглядом человека, который двадцать шесть лет знает, где в этом доме лежит каждая свечка.

— Рогожу, мисс, брали в марте, — сказал он. — Три штуки, не две.

— Благодарю, Бримли. Три, — сказала Клара и исправила.

Бримли удалился. Когда шаги его стихли у буфетной, Эдмунд обнаружил, что Клара смотрит на него поверх книги.

— Рогожа.

— Первое, что пришло на «р».

— Теперь у меня не сходится на рогожу.

— Простите.

— Теперь скажите вы, — сказала Клара. — Что вы знаете такого, чего не знаю я.

Эдмунд помолчал.

Это был первый настоящий взнос, и он отлично понимал, что от его размера зависит все дальнейшее. Отдать мало — и она перестанет отдавать сама. Отдать много — и он останется без запаса.

Он отдал две трети.

— Ваш батюшка последний месяц жизни разбирал в кабинете бумаги и жег их в камине. Дженни выносила золу. Это раз.

— Это я знаю.

— Это знает и Виктор, и он рассказывает это всякому, кто постоит рядом дольше минуты, поэтому будем считать, что это знает и Уэйборн. Второе: Бримли обходит первый этаж в половине одиннадцатого и в два, и оба раза начинает от буфетной.

— Двадцать шесть лет.

— Третье. Ваш брат не боится меня. Он боится Варренхольмов. Я видел его во вторник в холле, после отъезда Адриана: он сел на лакейский стул и просидел так двадцать секунд.

Клара быстро подняла голову.

— Он сел?

— Сел.

— На стул у стены?

— Да.

Она отвернулась к окну и постояла так.

— Я не видела, чтобы Артур садился на этот стул. Никогда. Он на нем даже шнурки не завязывает.

— Я так и понял.

— Это было отвратительно, — сказала Клара.

Она сказала это в понедельник, в архиве, едва Бримли в очередной раз унес поднос и шаги его стихли в коридоре; сказала, не поднимая глаз от конторской книги, будто продолжала вслух какой-то давний счет.

— Что именно?

— Доска. Четыре кроны с полтиной. Пятнадцать лет. Сырой грунт.

— Это сработало.

— Это сработало превосходно. Тетушка плакала. Виктор торжествовал. Я сама на секунду поверила, а я знаю, что вы лжете, я держала в руках журнал. Вот это и отвратительно.

— Вы не обязаны мне нравиться.

— Я и не нравлюсь, — сказала Клара. — Я говорю о другом, и это важно, поэтому слушайте. Вы вчера соврали лучше, чем нужно было. Вам требовалось объяснить отсутствие могилы, и хватило бы «у нас не было денег на камень». Вы добавили доску, год, возраст и цену. Зачем?

Эдмунд открыл рот и обнаружил, что ответа нет.

— Затем, что вам это нравится. Вы не выкручивались. Вы работали. Вы рассказывали про эту доску так, будто сами стояли там, над сырым грунтом, в пятнадцать лет. Я стояла в шести шагах и видела, как вы получаете удовольствие.

Она закрыла конторскую книгу.

— Господин Блэкмор, это второй раз: станция «Хейлфорд арх» и вчера. Третий будет там, где не надо. Я это вижу, и пока я на вашей стороне. Оуд на вашей стороне не будет.

Оуд, в сущности, и был теперь главным.

Это он понял еще накануне ночью — после зимнего сада, когда до четвертого часа пролежал без сна и разложил положение. Положение было такое.

Персиваль Оуд в Хейлфорде. Послезавтра к полудню он будет в архиве. В архиве он спросит письмоводителя Кеттла.

Кеттла нет.

Через час после этого Персиваль Оуд, двадцати шести лет, добросовестный, непьющий и неустойчивый, поймет, что депеша от семнадцатого числа — подделка. Еще через час он телеграфирует об этом в контору «Мэнвилл и Дрейк», а не в дом, потому что человек, обнаруживший подлог в доме, телеграфирует не в дом.

Итого: у него было часов сорок.

Сорок часов — это не двенадцать дней, но и не ничего. За сорок часов можно сделать многое, если знать, что именно.

Эдмунд знал.

Он знал это с пятницы, с той минуты, когда Виктор Вентмор, сам того не желая, произнес в пустой бильярдной единственную умную фразу за всю свою жизнь.

«Вы один. Вы тут один, и вы сирота, и у вас никого, и все, что вы говорите, — с ваших же слов. А будь у вас хоть кто-нибудь живой...»

Эдмунд лежал в темноте, слушал, как под полом гудит насосная, и думал о том, что за одиннадцать лет ремесла он ни разу не выдумывал живых.

Мертвые удобны. Мертвые не приезжают, не путаются, не пьют, не требуют доли и не говорят лишнего. Все его кладбище в Грейвелле было устроено именно по этой причине.

Он пересчитал для порядка всю родню, какую успел завести себе за одиннадцать лет. Дядей — трое, все покойные, из них самый удачный — Аврелий. Отцов — два, оба пропавшие без вести. Крестная в Дьюпорте, которую он хоронил дважды, в разных компаниях. Мать была одна — Элеонора, две недели от роду: матерей он прежде не заводил, мать — вещь дорогая, о ней спрашивают. Ни одного живого — и ни одного своего. Своих он не заводил: со своими путаешься.

Живой родственник — это риск, которого не берут.

Живой родственник — это также, и он отлично это понимал, единственная вещь, способная за сорок часов превратить рассыпающуюся легенду в семейное дело.

Он повернулся на бок.

«Она должна быть старая, — подумал он. — Старая, бедная, гордая и обиженная. И далеко. И чтобы ехать ей было тяжело, а собираться долго».

Он лежал и достраивал ее так же, как достраивал Элеонору, — то есть почти ничего не выдумывая, а лишь расставляя ограничения.

Имя — старомодное и чуть смешное: старомодное имя стареет вместе с человеком и потому не вызывает вопросов. Иоланта. Годится.

Родство — по матери, старшая сестра. Старшая сестра имеет право распоряжаться и не отчитываться, и это объясняет сразу все.

Обида — давняя и денежная, но не крупная: крупные обиды в семьях помнят подробно, а подробностей у него не было.

И одна вещь, которую она держит у себя. Непременно вещь, а не сведения: сведения пересказывают в письме, а за вещью надо ехать.

Шкатулка, подумал Эдмунд. Что-нибудь совершенно обыкновенное. Шкатулка.

Он был при этом почти счастлив. Это была его работа, он делал ее хорошо и делал в четвертом часу ночи, лежа на спине, без бумаги и карандаша — и без малейшего представления о том, что меньше чем через трое суток все это войдет в дом через парадную дверь, снимет перчатки и попросит чаю.

Он заснул, вполне довольный, и совершил в эту ночь единственную по-настоящему неправимую ошибку за всю свою карьеру.

Он придумал женщину.

Глава 18: Иоланта

Первым он сказал Августе, и сказал не прямо.

Это было в тот же день, после обеда, в малой гостиной, где старуха сидела у окна со своим починенным лорнетом и разбирала корзинку с шелком, в которой не было ничего, кроме спутанных нитей.

Эдмунд сел рядом и стал распутывать.

Он делал это молча минут десять, потому что молчание — лучшее вступление, а потом сказал в нити:

— Мне надо ей написать, а я не знаю как.

— Кому? — спросила Августа.

— Тетке.

Августа опустила лорнет.

— У вас есть тетка?

— Есть, — сказал Эдмунд, наматывая шелк на палец. — Иоланта. Сестра Аврелия и матери, старшая. Мы не виделись десять лет.

— Отчего?

— Оттого что она забрала бумаги и уехала.

Он поднял глаза и увидел, что старуха слушает его всем телом.

— Когда мать умерла, приехала Иоланта. Она была там два дня. Она собрала все, что было в доме из бумаг, — письма, книжку, метрику, — сложила в шкатулку и забрала себе. Мне было пятнадцать лет, и я не мог ей помешать, а если бы и мог, то не стал бы: она была старшая, она платила за похороны.

— И не отдала?

— Она сказала, что это не мое. Она сказала: пока ты не станешь человеком, это тебе не понадобится, а как станешь — приезжай.

Он снова опустил взгляд в корзинку.

— Я не стал. Я десять лет не становился, а тут отец умер, и мне писать ей: тетушка, отдайте бумаги, у меня появился интерес. — Он пожал плечами. — Стыдно.

Августа Вентмор молчала долго.

Потом она положила свою сухую маленькую руку ему на запястье и сказала с неожиданной жесткостью:

— Пишите.

— Тетушка...

— Пишите. Все стыдятся. Я сорок лет стыдилась написать одному человеку, а потом он умер, и стыдиться стало некому. Пишите сегодня же.

Писал он тут же, в малой гостиной, при ней.

Иначе не имело смысла. Письмо, которого никто не видел, в этом доме не существовало бы вовсе, а Эдмунду нужно было не письмо, а свидетель письма. Августа велела принести бювар, села напротив со своим лорнетом и стала следить за каждой строчкой с таким видом, будто от нее требовалась подпись.

«Дорогая тетушка Иоланта», — написал Эдмунд и остановился.

Дальше начиналась настоящая работа.

Письмо не должно было выйти складным: складно пишут те, кто пишет часто. В нем полгалась ровно одна просьба и ни единого объяснения, потому что человек, которому стыдно, объясняет мало. И в нем непременно должна была оказаться одна неловкая фраза — из тех, что потом стыдно перечитывать.

Он писал сорок минут и дважды начинал заново, и это было, пожалуй, самое честное сорокаминутное занятие за все его десять дней в этом доме. Он действительно не знал, как пишутся такие письма. Ему действительно некому было их писать.

Августа на середине шумно высморкалась.

— Дайте.

— Тетушка...

— Дайте, я сказала.

Она прочла письмо от начала до конца, держа лорнет на отлете, и вернула лист.

— Уберите «если вам будет угодно». Так пишут поверенные. И про деньги не пишите вовсе. Женщина, которая десять лет держит у себя чужую шкатулку, и без вас превосходно понимает, зачем вы вдруг объявились.

Эдмунд убрал «если вам будет угодно».

Оставался адрес — единственная часть письма, которую нельзя было ни выдумать небрежно, ни обойти вовсе, потому что конверт пойдет через корреспондентскую, а Бримли на конверты смотрит.

Дьюпорт Эдмунд знал плохо и по неприятным причинам: полтора года назад в Дьюпорте закончился Томас Гелл. Но улицу он помнил — Мельничный ряд, длинный, бедный, вдоль канала, — а номер поставил такой, какие в подобных рядах бывают всегда. Сорок один.

Конверт он заклеил и отдал Бримли лично, в руки.

Письмо ушло с вечерней почтой и должно было, по всем расчетам, недели через две вернуться с пометкой «адресат не разыскан» — то есть уже никогда, потому что к тому сроку все так или иначе будет кончено. К тому времени вопрос о том, кто такой господин Блэкмор, уже не занимал бы никого, потому что дом занимал бы совсем другой вопрос: отчего молчит тетка.

Расчет был хороший.

Эдмунд Фарроу гордился им ровно восемнадцать часов.

Вторым был Виктор, и с Виктором Эдмунд обошелся иначе.

Он поймал его после обеда в коридоре, отвел в сторону и сказал быстро, вполголоса, с тем возбуждением, которое так нравится людям, желающим считать себя посвященными:

— Вы были правы.

— В чем? — обрадовался Виктор.

— Про свидетеля. Про живого. Я всю ночь думал. У меня есть тетка.

Лицо Виктора Вентмора проделало очень интересный путь: сперва недоверие, потом расчет, потом восторг.

— Есть?!

— Иоланта Блэкмор. Старшая сестра матери. У нее шкатулка с бумагами — письма, метрика, все, что осталось. Она забрала это десять лет назад.

— Где она?!

— В Дьюпорте. По крайней мере, была.

— Так надо писать!

— Я написал. Час назад, при Августе. — Он помолчал и добавил ровно то, что требовалось: — Только это ничего не даст.

— Как это не даст?

— Ей семьдесят один год. Она бедна, она горда, и она меня не простила. Она не поедет через полстраны затем, чтобы помочь племяннику получить деньги от богатых людей. Она скорее сожжет шкатулку.

Он вздохнул.

— Такая уж порода. У нас у всех в роду: чем беднее, тем спесивее.

И ушел, оставив Виктора Вентмора в коридоре наедине с мыслью.

Он знал, что делает. Он знал это совершенно точно и потом ни разу не пытался убедить себя в обратном.

Человеку вроде Виктора нельзя поручать дело. Человеку вроде Виктора нужно сообщить, что дело невозможно, — и дальше он все сделает сам, из упрямства, и будет считать, что придумал это лично.

Третий раз он произнес имя Иоланты вечером, за столом, при всех — и произнес его лучше всего.

Разговор шел о завещании. Уэйборн приезжал днем и объявил, что оглашение состоится в среду, и весь ужин семья ходила вокруг этой среды, как ходят вокруг накрытого стола, к которому еще не позвали.

— Стало быть, в среду, — сказал Виктор в четвертый раз.

— В среду, — сказал Артур.

— Господин Блэкмор, вероятно, ждет среды с особым чувством, — сказал Виктор и хохотнул.

Эдмунд положил вилку.

— Нет.

— Полноте.

— Я жду четверга, — сказал Эдмунд. — В среду будет читаться бумага, в которой меня нет, — это я знаю и без Уэйборна. А в четверг, если почта дойдет, придет ответ от моей тетки, и вот он меня действительно занимает.

— От какой тетки? — спросил Артур.

И вот тут Эдмунд сделал то, за что впоследствии, в самые черные свои часы, все-таки ставил себе высшую отметку.

Он не стал рассказывать.

— От сестры матери, — сказал он и снова взял вилку.

Это, разумеется, было невыносимо, и за столом продержались одиннадцать секунд.

— Как — от сестры матери? — сказала Августа. — Артур, у него есть тетка. У него есть тетка, она забрала шкатулку.

— Какую шкатулку?

— С бумагами! Десять лет назад, после похорон, все забрала и увезла, и не отдает, и он стыдится написать, а я велела ему написать.

Артур Вентмор очень медленно положил ложку.

— Господин Блэкмор. Вы находитесь в этом доме десятый день. За это время вы, по моим подсчетам, сообщили нам о существовании матери, дяди, квартирной хозяйки по фамилии Лоуэлл, деревянной доски стоимостью в четыре кроны с полтиной и некоего писемоводителя Кеттла. Теперь оказывается, что существует еще и тетка.

— Она всегда существовала.

— Отчего же вы молчали?

— Оттого, что я до сегодняшнего утра надеялся обойтись без нее.

Он поднял глаза.

— Господин Вентмор, я приехал сюда за деньгами. Вам это известно с первого дня, и я устал делать вид, что это не так. Но я приехал брать деньги у вас, а не просить их у семидесятилетней женщины, которая десять лет назад сказала мне, что я ничтожество, и, как теперь выясняется, была совершенно права.

За столом стало тихо.

Он потом много раз перебирал эту сцену и всякий раз находил в ней один и тот же изъян: все было сказано безупречно, и все было сказано на четверть громче, чем следовало.

Потому что Клара Вентмор, сидевшая слева от брата, за весь этот разговор не произнесла ни слова и ни разу не подняла глаз от тарелки, и Эдмунд Фарроу понял, что она понимает все до последней запятой.

Она нашла его в архиве через час.

— Вы ее выдумали сегодня ночью, — сказала она.

— Вчера.

— Зачем?

— Затем, что Оуд завтра будет в хейлфордском архиве, и завтра к вечеру ваш брат узнает, что никакого Кеттла нет.

Клара села на край стола — она делала это редко и только когда была очень зла.

— И на разоблаченную депешу вы отвечаете новой ложью. Больше первой.

— Я перевел разговор.

— Объясните.

— Охотно. — Он отложил перо. — Сейчас в этом доме идет спор о том, кто я такой. Этот спор я проигрываю: у меня нет бумаг, а у Оуда есть ноги. Через два дня я проиграю его окончательно.

— И что же?

— А то, — сказал Эдмунд, — что с сегодняшнего вечера спорят о другом: приедет ли тетка и что в шкапулке. Пока она не приехала, этот спор не решить. А ехать она может очень долго.

Клара смотрела на него.

— Вы поменяли вопрос.

— Поменял, — согласился Эдмунд. — Больше я ничего не умею, мисс Вентмор.

Он ожидал, что она рассердится сильнее.

Вместо этого Клара Вентмор долго сидела на краю стола, болтая носком туфли, и смотрела в темное окно.

— Это очень хорошо, — сказала она наконец.

— Вы находите?

— Гадко и очень хорошо. Я уже привыкла. — Она соскользнула со стола. — Но вы кое-чего не учли.

— Чего же?

— Виктора, — сказала Клара Вентмор.

Записку принесли во вторник, в половине двенадцатого.

Эдмунд был в галерее, у пустого гвоздя, где к тому времени привык стоять, когда ему надо было думать. Бримли поднялся по лестнице с подносом и подал сложенный вдвое лист.

Почерк был крупный, торопливый, с нажимом, и с двумя кляксами.

«Любезный друг!

Не благодарите. Я человек прямой и потому прямо: я все сделал. То есть не я, а мой человек в Дьюпорте, но это все равно что я. Устроил в один день. О расходах после.

Госпожа Иоланта Блэкмор будет здесь завтра к трем часам пополудни.

Шкапулку она берет с собою.

Ваш В.В.

P.S. О том, что я вам говорил, помню и надеюсь на то же.»

Эдмунд Фарроу прочел это трижды.

Потом он сложил лист вчетверо, положил его во внутренний карман, повернулся и посмотрел в окно галереи, за которым шел дождь и стояли больные вязы западной аллеи.

Он стоял так минуты две.

За одиннадцать лет он выдумал сорок или пятьдесят человек. Он выдумывал их тщательно, хоронил аккуратно и ни одного из них ни разу в жизни не видел.

Завтра в три часа пополудни одна из этих выдумок приезжала к чаю.

Глава 19: Тетка приезжает к чаю

— Сыро, сэр, — сказал Бримли.

Больше ему в этом доме за двадцать семь часов не сказал никто ничего, и Эдмунд Фарроу потратил эти двадцать семь часов с толком.

Первые часы ушли на то, чтобы перестать паниковать. Эдмунд знал за собой эту особенность: первые часа два после катастрофы он был совершенно бесполезен, думал быстро и глупо и придумывал исключительно то, чего делать нельзя. Поэтому он лег на кровать, закрыл глаза и пролежал до темноты, не позволяя себе ни одного решения.

К девяти вечера он встал и начал работать.

Оуд молчал. Сорок часов, которые он себе отмерил, истекли еще днем, депеши не было, и это молчание пугало больше любой депеши.

Остановить это было нельзя. Написать Виктору «отмените» значило оставить в мире бумагу, из которой следовало, что Натаниэль Блэкмор не желает приезда собственной тетки. Перехватить ее на станции значило выйти за ворота, а за ворота его не выпускали одного с самого первого дня. Уехать самому значило проиграть, имея на руках пятьсот сорок семь крон и двенадцать дней, добытых с таким трудом.

Оставалось одно: встретить.

И Эдмунд Фарроу, сидя ночью на краю кровати в доме, где у двери не было ключа, составил то, что впоследствии считал лучшей своей работой после починки телеграфного якоря, — список.

Список был из двух частей.

В первой части стояло семь вещей, которые тетка Иоланта знать обязана: имя матери; имя брата; год смерти матери; название прихода; то, что в приходе подтопило книги; то, что она забрала шкатулку после похорон; то, что они десять лет ничего друг о друге не знали.

Во второй части стояло четыре вещи, которых она не должна произносить ни при каких обстоятельствах: ни одной даты; ни одного имени, кроме перечисленных; ни слова о Сайласе Вентморе; и ни при каких условиях, ни под каким видом, ни за какие деньги — ничего об устном обещании покойного.

Последний пункт он подчеркнул дважды.

Потом он подумал и приписал внизу пятое:

Она не должна открывать шкатулку.

И это, как выяснилось на следующий день, было единственным пунктом, который она выполнила.

В час пополудни он пошел к воротам.

Ему не помешали — это было даже отчасти обидно. Бримли, встретив его в холле с пальто в руках, всего лишь повторил свое «сыро, сэр» и остался в дверях, и стоял там все время, пока Эдмунд ходил по подъездной дороге взад и вперед, как ходит человек, ожидающий родственницу, которую боится увидеть.

Что, в сущности, было чистой правдой.

В десять минут четвертого на нижней дороге показался наемный экипаж.

Виктор Вентмор выскочил из экипажа первым, еще на ходу, и это было так на него похоже, что Эдмунд почти обрадовался.

— Вот! — крикнул Виктор через весь двор. — Вот!

Потом он обернулся и подал руку.

Из экипажа вышла женщина.

Эдмунд смотрел на нее и за четыре секунды, пока она сходила по ступенькам, успел прочесть больше, чем за четыре дня кого угодно другого.

Ей было под семьдесят. Маленькая, сухая, прямая, в черном шерстяном платье, которое было некогда хорошим и очень давно; в черной же шали, заколотой у горла простой стальной брошью. Седые волосы убраны так гладко, что это само по себе было заявлением. Перчатки чиненые — и чиненые на виду, на самом видном месте, поверх шва.

В левой руке она держала зонт, в правой — ничего.

Шкатулку нес за нею кучер, и она не оглянулась на нее ни разу.

«Это не бедность, — подумал Эдмунд с ужасом и восхищением. — Это сыгранная бедность. Она надела чиненые перчатки поверх шва».

Женщина остановилась в трех шагах от него, подняла глаза и очень долго молчала.

А потом сказала:

— Ты стал похож на мать.

Голос был низкий, сухой и совершенно ровный, и в нем не было ни радости, ни упрека, ни чувства — ничего, кроме констатации факта, произнесенной человеком, который двадцать лет не считал нужным ничего произносить.

— И это единственное, что в тебе хорошего.

Она обошла его и пошла к крыльцу.

Эдмунд постоял секунду с открытым ртом, потом закрыл его и пошел следом, испытывая совершенно новое для себя чувство. На мать он не был похож ни разу в жизни — сравнивать было не с кем. Он отложил это туда же, куда откладывал все, что нельзя продать, и больше к этому не возвращался.

Он был в этом деле больше десяти лет. Он полагал, что знает свое ремесло лучше всех, кого встречал.

Он только что понял, что первая же реплика тетки Иоланты Блэкмор была лучше всего, что он произнес за двенадцать дней в этом доме.

Чай подали в большой гостиной, и на чай собрались все.

Это само по себе было тревожно: за двенадцать дней Эдмунд ни разу не видел, чтобы в этом доме собирались все, кроме как за столом. Но теперь в гостиной сидели Августа у камина, Клара у окна, Виктор в кресле, которое он придвинул слишком близко, Артур стоял у каминной полки, и даже Бримли не ушел, а остался у двери с видом человека, у которого имеется дело с подносом.

Тетка Иоланта села на диван, положила зонт рядом и сложила руки на коленях.

Шкатулку поставили на низкий столик перед ней.

Эдмунд посмотрел на шкатулку и немедленно отвел глаза.

Она была деревянная, палисандровая, с медным уголком, дюймов двенадцать в длину, потертая на крышке в том месте, где ее обычно берут рукой. Замочек маленький, врезной, старый. Совершенно правдоподобная вещь.

Он не имел ни малейшего понятия, что в ней.

— Госпожа Блэкмор, — сказал Артур, — вы, вероятно, устали с дороги.

— Я устала, — согласилась Иоланта. — Но я ехала не отдыхать.

— Чаю?

— Крепкого.

Клара налила.

— Сахару?

— Я не беру сахару с восьмьдесят седьмого года, — сказала Иоланта Блэкмор.

Эдмунд, стоявший у стены, почувствовал, как у него по спине прошло холодом.

Первый пункт его второй части: ни одной даты.

Она уже произнесла одну, и произнесла ее так, что спрашивать «а почему с восьмьдесят седьмого» никто не стал, потому что всякий понял: потому что тогда кончились деньги. Это было сказано безупречно.

Это было также сказано вопреки прямому запрету, которого она, впрочем, не получала, поскольку доставить его ей он не успел.

Следующие двадцать минут были худшими и лучшими в жизни Эдмунда Фарроу.

Он вел две партии одновременно.

В первой он был Натаниэль Блэкмор, племянник, которому стыдно, — и эту партию он играл лицом, руками и молчанием, стоя у стены и не садясь, потому что севший племянник имеет право на разговор, а стоящий может отделаться кивком.

Во второй он кормил тетку.

Это была ювелирная работа, и делалась она через реплики, каждая из которых внешне была ничем.

— Тетушка, вы, наверное, не помните, — говорил он, — приход-то ведь у нас был нижний, святого Агаллия.

И Иоланта Блэкмор, ни на секунду не сбившись, отвечала:

— Отчего же не помню. Нижняя церковь. Верхнюю снесли еще до меня.

— Тетушка, вы простите, я, может быть, путаю: матушку ведь в двадцать первом?..

— Не путай, — говорила Иоланта. — Не путай, ты всегда путал. Я не для того тряслась сутки, чтобы ты при чужих людях путал, в котором году твою мать закопали.

И вот тут, ни разу не назвав года, она давала ему понять, что услышала «двадцать первый», приняла его и больше к нему не вернется.

Эдмунд Фарроу за одиннадцать лет не работал в паре ни разу.

Он начинал понимать, что много потерял.

Дважды она чуть не провалилась, и оба раза выплыла не так, как выплыл бы он.

В первый раз Артур спросил:

— Сколько лет было вашей сестре, когда она уехала из Грейвелла?

Правильный ответ был — Эдмунд знал его, он сам его сочинил — девятнадцать.

Иоланта Блэкмор помолчала.

— Достаточно.

— Простите?

— Достаточно лет, господин Вентмор, чтобы уехать из дома, где ей было плохо, и недостаточно, чтобы понимать, куда она едет. Если вам нужна цифра, спросите в приходе. Мне цифра не нужна, я там была.

Артур Вентмор чуть наклонил голову — ровно на четверть дюйма, тем самым движением, которым он отмечал удачный ход, — и не переспросил.

Во второй раз спросил Виктор, и спросил, разумеется, то, чего не следовало.

— А вот скажите, госпожа Блэкмор, — начал он, придвигаясь. — Вот покойный дядя, Сайлас то есть. Он ведь, я так думаю, обещался...

— Не знаю, — сказала Иоланта Блэкмор.

— Да как же...

— Не знаю, не видела, не слышала и не желаю знать. Я приехала не за тем, чтобы рассказывать вам, что говорил человек, которого я в глаза не видала. Я приехала оттого, что мне написали, что мальчик опять ввязался.

Она повернулась к Эдмунду.

— Ты опять ввязался.

— Тетушка...

— Молчи, — сказала Иоланта.

Эдмунд Фарроу закрыл рот и с изумлением почувствовал, что покраснел.

Августа Вентмор все это время сидела у камина и смотрела.

Лорнет она подняла, едва гостья вошла, и с тех пор не опускала, что в ее случае было проявлением крайней степени волнения.

И на двадцать второй минуте она сказала:

— Я вас помню.

Гостиная повернулась к ней.

— Тетушка, — мягко сказала Клара.

— Я вас помню, — повторила Августа с нажимом. — Вы приезжали. Вы стояли в холле и не сняли шляпы.

Эдмунд перестал дышать.

Он приготовился ко всему: к отрицанию, к растерянности, к вежливому «вы ошибаетесь, мадам». Любой из этих ответов был бы катастрофой разной степени.

Иоланта Блэкмор поставила чашку.

— Я и сейчас не сняла.

Августа моргнула.

Потом засмеялась — тем же сухим, отрывистым смехом, каким смеялась над выстуженным домом, — и ударила лорнетом по подлокотнику.

— Да, — сказала она с торжеством. — Да! Вот именно. Артур, я же говорила. Я всегда говорю, а мне не верят.

— Вы говорили, тетушка, — сказал Артур ровно.

Он не сводил глаз с Иоланты Блэкмор.

Эдмунд, стоявший у стены, видел его в профиль и понимал, что происходит: Артур Вентмор не поверил ни единому слову. Он и не собирался верить. Он делал ровно то, что делал с первой минуты, — считал; и сейчас он считал не правду, а стоимость.

Потому что одно дело выставить из дома молодого проходимца.

И совсем другое — выставить из дома семидесятилетнюю женщину в чиненых перчатках, которую сюда привез твой собственный двоюродный брат, и которую твоя собственная тетка при пяти свидетелях узнала.

— Господин Вентмор, — сказала Иоланта Блэкмор. — Вы мне не верите.

— Не верю, — сказал Артур.

— Хорошо.

Она произнесла это с таким явным облегчением, что Виктор крикнул.

— Я не люблю, когда мне верят из вежливости, — сказала Иоланта. — Я прожила шестьдесят восемь лет, из них сорок — одна, и научилась вот чему: верят обыкновенно тогда, когда собираются что-нибудь взять. Вы мне не верите — и правильно. Я вам тоже не верю.

— Отчего же?

— Оттого, что этот мальчишка десять лет не писал мне ни строчки и не приезжал. А умер богатый человек — и он немедленно нашелся, и вы немедленно нашлись, и вот мы все сидим и пьем чай.

Она обвела гостиную взглядом.

— Я не думаю, господин Вентмор, что в этой комнате есть хоть один человек, который тут ради покойного.

В большой гостиной Вентмор-Грейнджа сделалось очень тихо.

Эдмунд Фарроу стоял у стены и в этот момент испытал то, чего не испытывал никогда и надеялся более не испытать: он захотел заплотировать.

Заодно он отметил, что тетка, которую никто не предупреждал, назвала шестьдесят восемь, а сам он позавчера сказал Виктору «семьдесят один». Он покосился на Виктора. Виктор, к счастью, считал только деньги.

И тут Артур сказал:

— Откройте шкапулку.

Все остановилось.

Эдмунд заставил себя смотреть в пол, потому что если бы он посмотрел на нее, все было бы кончено.

Он не знал, что в шкатулке. Он не знал, откуда она вообще взялась, — ее нашел человек Виктора в Дьюпорте, за один день, за какие-то расходы, о коих после. Человек, который за один день находит в Дьюпорте старуху с палисандровой шкатулкой, находит и содержимое, и содержимое это, по всей вероятности, куплено на вес у лавочника, торгующего чужими бумагами.

Если в ней письма, их прочтут. Если их прочтут, в них будут чужие имена. Если в них будут чужие имена, все кончится сегодня, в этой комнате, при Августе, при Бримли и при зеленой медной урне в холле.

— Нет, — сказала Иоланта Блэкмор.

— Простите?

— Нет.

Она положила ладонь на крышку.

— Господин Вентмор, в этой шкатулке лежат бумаги моей сестры. Письма, которые ей писали. Ее книжка. Ее метрика. Три вещи, которые я не назову, потому что они никого здесь не касаются.

Она подняла глаза.

— Я везла это сутки в третьем классе, потому что в третьем дешевле. Я не спала. Я не ела ничего, кроме того, что взяла из дому. И я не для того везла сюда мою сестру в ящике, чтобы ее разбирали в гостиной между чаем и кексом.

— Мне необходимо...

— Вам необходимо, и вы это получите. Но не так. Пусть будет нотариус. Пусть будет ваш поверенный, и его поверенный, и кто вам еще угодно. Пусть будет опись, и подпись, и печать, и пусть каждый распишется, что он взял в руки и что положил обратно. Я открою при них.

Она убрала руку с крышки.

— А в гостиной — нет. В гостиной пусть лежит закрытая.

Артур Вентмор смотрел на нее.

— В пятницу, — сказал он наконец, — в этом доме будут читать завещание. Будет нотариус Уэйборн и будет представитель конторы «Мэнвилл и Дрейк».

— Стало быть, в пятницу.

— Шкатулка останется здесь.

— Шкатулка останется при мне. Дайте мне комнату с замком, и я в ней запрусь вместе с ней, и вы поставите под дверью кого хотите.

— Госпожа Блэкмор...

— Господин Вентмор, — сказала Иоланта, — я не отдам ящик с бумагами моей сестры человеку, который только что сказал мне в лицо, что мне не верит. Вы бы отдали?

Артур Вентмор постоял еще секунду.

— Бримли. Голубую комнату. И ключ.

— Слушаюсь, сэр.

Пятница была подарком — оглашение отложили этим же утром ради представителя старшего кредитора, которого пожелала прислать контора «Мэнвилл и Дрейк», — а подарки в этом доме до сих пор ни разу не были бесплатными.

Гостиная расходилась долго и неохотно.

Августа требовала, чтобы гостью непременно накормили, и рассказывала про гуся. Виктор ходил по комнате с видом человека, выигравшего сражение, и дважды сказал «ну что, а?». Клара увела Августа. Артур ушел первым и не оглянулся.

Через две минуты в большой гостиной остались двое.

Эдмунд подошел к дивану, наклонился и начал очень быстро и очень тихо:

— Слушайте меня внимательно. Комната третья по коридору, я приду в...

— Не шепчите, — сказала она.

Голос был другой.

Эдмунд выпрямился.

Из-под седых волос и черной шали на него смотрела совершенно другая женщина: живая, веселая и на двадцать лет умнее той, что двадцать минут назад не брала сахару с восемьдесят седьмого года.

— В таких домах шепот слышно лучше всего. Шепот слышно даже там, где не слышно крика: в галерее, в холле и на лестнице, потому что своды. Если вам надо сказать мне что-нибудь, говорите громко и о погоде.

Она взяла с блюда последний кусок кекса и съела его целиком.

— И еще, — сказала она, стряхивая крошки с ладони. — Перед длинной ложью вы задерживаете дыхание.

— Что?

— Задерживаете. Вы набираете воздух и держите его четверть секунды, а потом начинаете. От этого первое слово выходит на полтона ниже остальных. Так все делают, когда врут длинно; у нас в цеху это вышибают на первых же выходах. Я слышу это в третьем ряду партера, милый мой, а мисс Вентмор сидит напротив вас уже двенадцатый день.

Она поправила шаль и встала.

— Придете в одиннадцать, — сказала Иоланта Блэкмор. — Постучите два раза. И принесите деньги — не для приличия, а все, что у вас есть, потому что я примерно догадываюсь, сколько именно у вас есть, и хочу посмотреть, сколько вы мне покажете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.